



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

И

ID-LC

PG

3948

.L8

V5

X

ДЕНИС ЛУКІЯНОВИЧ.

ВІД КРИВДИ.



НАКЛАДОМ

УКРАЇНСЬКО-РУСЬКОЇ ВИДАВНИЧОЇ СПІЛКИ

зарєєстрованої спілки з обмеженою поручкою

UKRAINIAN BAZAR
2329 GRAYLING AVENUE
DETROIT, MICH.

WID-LC

PG

3948

.L8

V5

X

✓

LUKIANOVYCH
= "VID KRYVDY"

Важко



З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка
під надзором К. Водарського.

Тили, що в далеку пішли до-
рогу, що тужать за руською зе-
млею

присвячую.



Пішли в дорогу.

Дорога далека, велика. Вихожали рано-пораненьку, на світових зорях; темні луги соколом перелітали, широкі поля перепелком перебігали, бистрі ріки й озера лебедем перепливали.

В далекій стороні, в чужій чужениці мали на волі, по правді жити.

* * *

Різними дорогами ходжено. На одних вросли могили, на других терни, треті тільки сльозами, кровю напосні.

* * *

Коло шиї аркан веть ся і по ногах ланцюх беть ся... Тяжка дорога на Чорнім шляху, а на Муравськім шляху три недолі: що одно

безвіддє, що друге безхліба, третє буйний вітер
в полі повіває — з ніг звалєє.

* * *

„Село підняло ся, розрослоь, розкоренило ся. Весело кидались у вічі серед широкого степу квітучі огороди з вишневими садочками...

„Пронесла ся, як грім грянув, чутка: попались у неволю! Війт по селу бігає, загадує на завтра до церкви збиратись.

„Одправили молебень. Тоді старенький панок, що приїхав із генералом, давай селянам вичитувати: за які й за які послуги „пожалували“ їх генералові пану Польському — та хто з них записаний в козацький „компут“, а хто в генеральський „реєстр“...

„Деякі горячійші позабирали торби на плечі, тай потягли шукати вільної сторони...

* * *

Ой з-за хмари, заа Лиману вітер повіває; кругом Січі Запорожця Москаль облягає. Ой пішов же Москаль по куренях та став ружжя одбирати, а московські пани генерали пішли церкву грабувати...

А вжеж хлопці, добрі молодці тягу дали, поневоленій землі рідній пятами накивали... Що-ж мають робити? треба буде Запорожцям хоч під Турком жити.

* * *

Чия сила — того право.

А деж правда? Ой, вжеж бо тую правду аганяють зо сьвіта. Перед мужиком її ховають. Нема вже тої правди тутки, хиба у царя, у цариці та в далекій столиці. І до царя не допускають, ті що правду заховали.

Далеко-ж та далеко до столиці пішо ходити, божої правди шукати. Не шукати — здобувати.

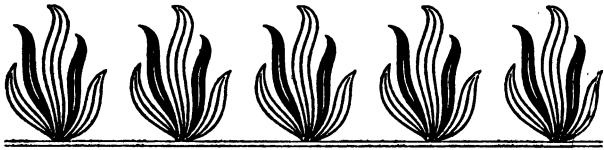
* * *

Ой земле ляцька і московська і віро-бі-сурманська, ти розлуко українська!

Ой землі, землі та справдіж проклятії!..

Услиши, Господи, у просьбах, у мольбах: люду християнському дай жити на сьвятору-ським берегу, де ясні зорі, де тихі води, де праведне сонце сьвітить. Од нині до віка!..





I.

Стара хата Козакова стоїть на краю Ко-нюхова, на Селищу, а Селище вибігає на кру-ту скалу, прикриту буртами. На краю буртів, над спадиною лежить могила як велика під-кова загублена в татарськїм походї, а в долї, під білою скелею річка Тайна котить филї до Збруча.

Хоч і стара хата, та чепурна: знать дбай-ливі за неї старають ся, а перед вікнами росте калина, купчаки й герґонія, бо в хатї живе дївчина, що доглядає віля. Ся дївчина стоїть тепер конець города, на викопї, з милим роз-мовляє, бо нинї ведїля.

Цїле Селище купаєть ся в яснїм, соняш-нїм сьвітлї під синїм небом, а з нив і з поля несеть ся запах цвїтучого збіжа. Чути повну, творчу силу природи в паленїючих овочах, у цвїтах повних меду, в колосю, що вже си-плеть ся.

Іванова хата побілена всміхає ся віконцями і ціла ходить на radoщах, бо Іван мнлих гостей витає: прийшов до нього родич його Задорожний з Вільхівців тай любу ведуть розмову, почастивавши ся щиро вбогими статками господареві комори.

В хаті говорили неголосно, а господиня все чогось вертить ся, часто вікном визирав, наче иньшого гостя жде. Коли так скригнули ворота і попри кузню підійшов чужий хтось, але зараз таки вернув ся і пішов по буртах.

Був то Семен Многодїтний. Його немилі очі гляділи так непевно, що сорока, хоч підскакувала бесело по стрісі, кричала й віщувала Іванисі гостей, замахала нараз хвостом, затріпала крильцями тай перелетіла кінець огорода, на стару, розлогу липу.

Ся лица, то найстарший приятель козачого роду. Садив її прадід іще того часу, як замісь Конюхова було на конюхівськїм горбі декілька хаток. Яблонські сиділи ще тоді в Болотищу, але панська рука далеко сягає: там, де її не видко. Піддані тікали від неї як мога дальше, посували ся в ліси Медобори. Хто не був безпечний у Вільшанцях, утікав до Бірок, а то і на Конюхівськїй горб облитий річкою. З роками виростали серед зеленої толоки рівні хатки одна наперед другої, а всі обложені горами й садками. Вже з них село правдиве, а ряд нових осель усе ще підповзує змисю під Селище, але за ними йшов сум і смуток лягаючи на ниви, на Запуст, на Богот.

Росло збіже як перше, висипало ся в колос і золотом лисніли лани, але на межі, раз на сїй, раз на другій вихляло ся бліде лице

мужицької кривди тай видало острах — і вже не чути жайворонкової пісні над полями.

І по лісі пішов сум: одно дерево вяне, друге чахне, а не ростуть весело. То знов чути якісь плачі, хтось заводить у лісі і по лугах. А тут у ясну, місячну ніч несло ся понад Бірки якесь страхіте і полинуло понад Селище і понад Богот через край.

Ой пішли з весною майстри на Богот, пішло їх дванацять. Ще гай не шумів, як вони пішли, а ще зазуля не кувала, як уже дуби столітні, як явори зелені буйне верхівя на землю поклали, не так поклали, як їм відрубали.

То не крига по Збручи йшла, то топори на Болоті лунали. То не дикі гуси летіли, не лотоки шуміли, то деревина звертала ся, на землю лягала.

Як же її в село завезли, то обвели панови тесаним тином цілий фільварок і тесані ворота густо гвіздками набивані поставили, і будинків на цілий фільварок вимостили і змурували білу палату на горбочку. То пан попродав тамті села, перейшов у Бірки, а сина оженоного посадив у Конюхові.

Тоді вже Конюхівці поникли до решти (збільшено їх повинности), тоді Іванів батько, Максим, дав уже зовсім закріпостити ся, а визначено йому землі ледви чи й третину з того, що досі посідали „вольні кметі“ Козаки.

Цілих шість днів у тижни голюкали на робітників атамани та посіпаки, що божий день свистіла над спинами нагайка, а неволені люди гляділи, коли сонце полудень покаже, з полудня дожидали, коли воно сяде.

І Максим за свій город, що мав коло хати, повинен був на поклик іти до роботи. Але що вже за хозьяїн із нього, який ратай! Не хозьяйлива у нього вдача! Так цівку йому дай перекинути через плечі, то він піде темними борами звірини шукати. В тім він зріс, в то йому грай, але не на панщину ходити. Якимось дивом знав він ковальство, а пан, хоч і мав коваля, та сей плохо кував коні, яких цілий табун водив ся у пана. Нераз перепадало Максимови забігати у двірську кузню та помагати в роботі.

Одного дня забрав ся він у ліс, зрубав дванацять рівних дубів тай зіпняв із них кузню край свого дворища на майдані. Тут почав бити клецем по ковалі, гартувати зелізо, гнути підкови. Не робив роботи щиро, от аби збути ся панщини. А крізь віконце все виглядає на зелене ниве, на розлогі долини, на сі ліси туманом повиті, все слухає гамору й шуму буйного верхівя на горах, а далі кине молот тай іде гуляти на волі.

При нім і Йван, скоро тільки вбрав ся в парубоцьку силу, підняв молот рукою та став кувати, а кував за себе й за батька.

Але з Івана також харциза! Тут дивн: робить аж зо шкіри вискакує, а тут і не візьме молота до рук. Або звіяв ся кудись, або хоч і дома, то шняпає понад річку та по буртах та байдигує. А там знов як наляже на роботу, то бе молотом, наче зелізо його ворог, виварює з себе воду, наче на завтра не потребує вже сили — а тоді від тої роботи, від стуку-гуку трохи не розлетять ся стіни, від огню на пальовиску мало вугля не згорить.

За кільки років Іванової панщини прийшла воля. Старий Максим був уже на могилі: помер крепаком не діждавши ся сьвятої волі. За те Іван „женив“ її.

Треба було звикати на те, що робить ся для себе. Тяжко було вірити. Панови тяжше було нагнути ся до нових порядків, а навчив ся і він за роботу платити.

Іван довго ще свободі давав волю, нераз цілими тижнями не ятрив ся углик на пальовиску, ковало бовваніло німе і не дзенькнуло своїм чистим тоном, клевець у куті рум натягав, а Іван — гуляв із рушницею по лісах.

Та не гуляти-ж йому все, житє бере своє. Плати дачку, по хозяйству ходи, сьому і тому лад дай, а на все треба. Не сьмієш уже йти до двора тай чогось зажадати, а ще якось у рік два потім, як воля вийшла, остро заборонили носити зброю. Щоб льяальні мужики не зробили бунту, почали відбирати рушницї, стали шниряти по хатах, по кутах і треба було ховати ся із своїм добром. А ти, Іване, ховай ся, не ховай ся: всі знали, що Максимова славна пушка тепер у сина. Ой, плакав же за нею Іван, як за найбільшими скарбами. Він чув, що враз із рушницею беруть кавалок його душі, чув що відходить від нього й не вернеть ся ніколи щось дороге та миле.

Батькова пушка, кілько разів глянув на неї, нагадувала йому, що він вольний чоловік, що можна йому піти між мовчазливих, зелених приятелів тай забути, чи є на сьвітї яка кузня, чи треба які податки платити, чи треба на рілю гній возити. А тепер не сьмієш думкою підлітати тай перелетїти понад тин.

Ходив Іван по Боготі тай губив безладні мисли... Посумував іще в хаті, але не дали люди попадати в тугу: приходили з радіою тай великали до кузні. Робота сама не дає журбі журити ся, а ще як возьмуть приповідати, то добрим словом, то насьміхами гоїти рану — якось Іван поволи став звикати до давного життя.

Не до давного, бо давне лиш згадувати можна. Згадував Іван батька, а мами не згадував, бо й не тямив її. Від неня навчив ся любити дерева, простір та свободу, а до людей, до односільчан не втиркати ся більше, ніж мусів. Довкола свого дворища мали свободу. Тут могила, перед могилою бурти, тут вільні поля над Митницею, тут беріг, річки тай лани, що бігли під Медобори, а на захід сонця майдан.

Але диви, щораз менше того зеленого килима на майдані між їх двором і селом. Поволи лягають хати з брудними обістями докола, з гноївками та намазаними хлівами, тут знов поорав плуг чорні скиби і замаяли цвітисті огороди. Над Митницею, на вигоні також посіялись хатки, і вже до Козаків, до їх дворища підсувають ся з усіх боків сусіди.

Добре було Максимови бурлакувати, але Іван мусить робити на гріш. Батько купив хиба горілки, соли та пороху, але і то не за гроші, лише міняв за звіріну то за шкіри, а Іван купує не одно тай за все платить кругленькими грішми і за один рік платить більше податків, ніж Максим за ціле житє платив їх. Такий час настав, що за гроші всього дістанеш і що треба мати гроші.

Земля годує мужика, земля його вбирає. Через те він рабом землі. І мужицький ремесник є рабом землі. Він служить рільникови, а сей служить землі. Земля дає мужикови значіне, пошану у людей.

Іван, від коли не мав батьківської пушки, від коли не гуляв — зрозумів се. А зрозумівши, забажав посісти землю і мати її права, яких без неї не мав чоловік. Коли почув у своїм серцю се бажанє, сю жадобу землі — зрадїв, бо знайшов те, що забрали у нього жандарми і війт, відбираючи рушницю. І сцілив свою розбиту душу, надїяв ся знайти супокій.

Перше всього прийняв ся до ладу привести свою пустку. Дворище козацьке було занедбане — він підвів тин, ворота почепив. Обчїмхав батьківську деревину, насадив сьвіжої. Город добре справив і засїяв та обсадив та з битєм серця вижидав плодів, бо хотїв бачити овоч своїх трудів.

Тепер на Івана инакше споглядають і він замїсь на слободу, заходив у село тай ходив улицями, хоч до парубків анї до дївчат не своїв ся. З парубками товаришувати він уже за старий, дївчат не бачив на Селищу, сам робив жіноцьку роботу у себе в хатї, і тому не брав жіноцтва в рахубу.

Він був важною особою для села, став чимось необхідним. Був у тамтїм кутї коваль, але не під пару Іванови, тому до Івана забїгають та просять, щоб робив. А преці ті самї люди поза кузнею не мають його за люди. Що устрїй громадський полягає на родинї, се невідмінно і практично пізнає один тїлько мужик на селї. Іван не мав жінки і через те як би не був членом громади, всі йому тїкали, не

міг він піти межі господарів та рота отворити. Не послухають його, ані говорити не дадуть. Його право — в кузні.

Се бачив Іван. Помітив також, що ніколи було страву собі варити, одержу латати, за худібною ходити, бо треба було робити коло хліба і продати його за гроші, або молотком гроші заробляти. Тай сі, що роботу давали в кузні, стали намовляти, прибалакувати, що Іванови треба газдині.

Одружив ся Іван. Узяв першу з краю, а й ся держала три хатні угли, Іван лише четвертий. І ся робила свою роботу в хаті, і ся родила йому дітей — а Іван був газда. Так як усі газди мастив волосє смальцем, ходив до церкви і до коршми. Його ноги, що за молододу перебігали поля й спинали ся по горбах — задеревіли, його постать, ся гнучка стать харциза Івана, одубіла: Іван газда ходив по волн, волочив ногами і поволи говорив.

Втягнув ся Іван до нового життя. Пішли у нього звичайні хозяйські турботи, невгодини. Але як той орел, коли вийшов на могилу, як став на крайочку Королівщини і бистрим оком окинув далекий овид, розлогі поля, темні бори, високі горби, почував у серцю тугу. Земля і жінка й діти не радували його тоді. Кинув би їх. Кинув би, а сам летів би шукати і здоганяти. Що? Сам не знав.

Землі не бажав. Не мав її багато, але посіданє її не заспокоїло би його туги, що гнула його до землі.

По ланах укритих збіжем як туча перейшла, зігнуті стебла поволи, з трудом здіймали колосє против сонця, в гору, а зломані безнадійно всихали, вяли. Над миром хреще-

ним, по головах мужицьких ішла буря, довга, протяжна суховія тягла, все клала, двигнути ся не дала. Цілий час чув Іван, що він стебло побіч иньших на полю, а понад ними буря іде. Така шалена буря, що все ломить, а сама котить ся, котить без упиу, а ясного обрія не видати серед тьми. Чув гук, ніс ся шум гия, лунав лоскіт ломаних дерев. Розгуляли ся води, гнула ся земля. І серед тої навали затратив Іван почуте одиночного болю, чув лише кривду загалу, чув як елементарною силою ішов над ними всіми тягар, що торощив усе, а сьвіт-сонце забарилось сходити.

Не в однім Конюхові, не лиш у Вільхівцях, але на цілій Русі вгинала ся земля від кривди, потекли ріки криваві, ріки сліз, лягла тьма по сам край; але Яблонські одні між першими „завели лад за сервітути“. Високий Богот склонив своє горде чоло, девять днів і девять ночий були тьмою повіті буйні верхи, як підпали під дужу руку пана Яблонського. Носив ся жалібний гамір по Поділю, зірвали ся розпучні протести, пішли жалоби й скарги, залунали відгуки бійки, понесли ся стогнаня. А на кінець і тут і всюди припали ліси й павовиска сильнішим і ніч розпуки прикрила тьмою широке поле битви.

Скінчила ся баталія. Сонце сходило над заплаканим Боготом, а сїдаючи ломало проміри в гружівнах розлогих кватир та кривавою луною нагадувалася драма збута серед буденного життя, в якім трудящі руки не перестали подавати докола поживу і богацтва. Тиха могла край села не розкрилась, щоб прийняти й закрити кости борців, бо тепер убивають душу, або дають жебрацьку палицю в руки не

вбиваючи тіла, але вона дрожала як по всіх важких погромах на руській землі. А похилений мужик далі орав рілю та сів у скибу зерно.

Сів Іван. Але рабунок сервітутів завдав таку рану його душі, так заколотив його думки, що літами не міг ізцілити ся.

І тепер ішла про те бесіда. Задорожний вірно стояв при Дмитрі Галюті, що боров ся за Кадильну в Вільхівцях і Василь руйнував себе неменьше як Дмитро. „Най трачу все, — казав — але най бачу, де правда“. А що процес тягнув ся стільки вже років, він скріпляв лише свою віру, що ся правда не прогнана ще за далекі моря, кине ще сяєво над мужицькими головами, заграє веселкою на хлопських нивах і зарадує похилених назмників на батьківській землі. „За такий татунок“, для сеї радісної, ожиданої доби, все посвятивав: мав кериню із жінкою, „завдавав у банок“ своє поле, „сиротив діти“, робив довги. До Івана прийшов нині просити, щоб приїхав на четвер до Болотища тай дав за нього поруку в банку, бо всі вільхівчанські приятелі ручили ся один за одного і вже тепер Жиди не приймають їхньої поруки. А гроший треба: адвокат притягав Дмитра до злагоди, щоб купив для громади цілу Кадильну за одинацять сот без двацяти. Хочуть відкупити правду за сі гроші, та ніхто їм не продасть її, ніхто свого права не купує, як воно чесне. Але треба сих гроший підсипати свому адвокату, щоб скорше процес ішов.

Іван згодив ся.

— А Кватири ви вже подарували і нема такого, щоби ввімнув ся за громаду?

від кривди.

— Нема, чувте, тай не буде, ми вже хрест поклали. Нема в нас такого як ваш Галюта тай де вже тепер зачинати, як уже мохом поросло!

— А ви?

— Я ні.

— А чому?

— Багато говорити; виж мене знасте і без того.

— Та власне, коли бачу, що наша справа йде в гору, то міркую, що й ви моглиб починати.

— Я не зачну, бо в мене зломане щось у середині, а як що зачинає ся, то я мушу не вірити в добрий кінець. Тут буцім кажу, що йде до доброго і за добрим буду побиватись, а якийсь тихий голос наповідає мені, що не треба сього.

Іван сам налякав ся, що висказав свою найглибшу, душевну тайну. На слабу хвилю графив Задорожний і чарка горілки з перцюгою.

— То бідний з тебе чоловік! — покивав головою Василь і випили знов по чарці, не закусуючи, а Іванові темні сумніви виповзли з його душі і попередний високий настрій пригнїв ся.

В таку хвилю підійшов Многодітний у друге, вступив у хату і зараз на неї впала тїнь, а важкі думки аж тепер прихилили голови до долу. При нїм не було бесіди про громадські справи, бо се панський лизун та ще й з осїбна в незгоді та гнїві з Іваном. Тим то й з дива не сходив господар, чого навідуєть ся такий гість, за чим його воріг переступив пороги. Але почав щось кмітувати, коли поба-

чив, як стара коло гостя плеще. І той до неї також так говорив, наче наперед уже змовились. Саджає Іваниха гостя за стіл, не дожидаючи, що газда скаже, сама до нього перепиває, а Многодітний, хоч такий богач, поцілував її в руку відбираючи від неї чарку.

А там уже й розказав, із яким він ділом. Справляє панахиду на батьковім гробі, а відтак поминки, тай запрошує Івана доконче прийти на обхід.

Се ще більше здивувало Івана і розсердило. Відмовив йому. Але Семенко був наприкрений, а Задорожний недогадливий. Не знаючи, що зайшло колись між Іваном і Многодітним, у-раз із Іванихою намовляв Козака йти, бо так він і його відведе хоч у пів дороги. З пересердя вже й не відмовляв Іван, лише почав збирати ся, а що Семенко галив, зараз і вийшли.

Іваниха випроводила гостей до воріт та гукнула на дочку, лиш ся не відкликала ся. Глянула на विकіп під липою, там не видко було нікого. І тоді всі разом зглянули ся на горб за рікою і побачили, як струнка дівчина підіймаєть ся в гору, а побіч неї йде никлий парубок. Мати пізнала дочку, Семен пізнав сина. Іван пізнав одно і друге та лиш відвернув ся.

— Ти пантрувала би ліпше дочки, не-боже! — кинув він жінці запираючи ворота.

Вийшли всі три на бурти, пішли по мягкій мураві, і пристали біля могили мимохіть.

Докола них розкинув ся знаний їм усім краєвид, але серед такої погоди і сьвітла, що мусіли стати і повними грудьми віддихнути.

Під могилою в доли, під кручею, простяг ся великий низень сьмілим розмахом і біг аж під Медобори, вискакував на сугорби, що синявим, мріючим, обручем стискали ниве, лань й рілю, та широкими верхами замикали далекий простір і цілий овид. Тільки на південь лишила ся між конюхівським горбом та Медоборами широка брама і нею висував ся з обіймів ровень та западав ся над річкою моклави-нами, а далі розкинув ся простертим пасови-ском, „Кватирами“ і примерклою смугою, ледве мріючою зливав ся далеко з крайнебом. Від ясної вічнозеленої травки на гружавині до толоки, від левад до ярого збіжа, від спілого стебла до темних зворів лісових у щедрому блиску соняшного проміння переходили всі від-тінки зеленої, срібляної і золотої краски і за ледве чутним подихом вітру пересувались, мішали ся. Лиш із півночи-заходу відірваний від гнізда Запуст простягнув ся під саме Се-лице хребтом і задержав ся нагло шпилем звітрілої скали, Козорогом. Гори здіймали ся велично, горб за горбом, висший за низшим, кожний сіяючий, освітлений на покотах, а за ним померклий, темний провал. Над усімиж царює Богот, що стріляє в гору гордим шпилем та дрімає в облаках.

Сонце звернуло недавно з полудня і в його сьвітлі купала ся панорама, а над травою й збі-жем філювало ся мерехтінем розігрите повітря. З Кватирів долітав крєкіт жаб, голосне кум-канє-рахканє, на пастівнику та серед збіжа сюрчали коники, бзикали комахи, над полями побіч Запусту збивали ся в гору птиці та вели хоровий щєбет, а все довкола горіло яркими

врасками, пашіло силою, щирим, незмученим житєм.

Тай чоловікови так і хотілось кликнути з повної груди, чуючи жите і силу в собі. Глянули хлібороби на пишні лани, що невсипущим їх трудом, гіркою працею сіяні родили збіжжя тай не думали, що град може впасти. Їх праця, їх надія досягає, піде в обороти. А за тими полями Богот. Був він божий, мужики рубали дерево під його стопами та на Запусті, а тепер він панський і Кватири панові. Чия сила, того право.

Таку думку думав Іван, а Василь відчув її тай оба враз, не змовляючись, обернули зір позад себе, на село. На другім кінці, за річкою стояла на горбі біла палата і могла з горба скотити ся, придавити, столочити сі вбогі хатки хлопські, що попритулювались під горбочком. А зза білих стін палати, від пустого поля визирали чотири всохлі, голі та зчорнілі тополі, наче зуби голодного вовка, що хоче проковтнути кого. Гляділи туди оба приятелі і наче ждали, що ось ізза палати скочить якась потвора, кине ся на село. Від сеї думки сплило ясне світло і веселість. Почув ся нагло глухий грім, над левадою переповзла тїнь хмари, у Івана і Василя прошиб біль серце, тільки Многодїтний стояв незворушений. Задля нього пристали, але він уже набив люльку, закурив, сховав кашук із тютюном і рушив ся.

Подали ся за ним. Перейшли кладку і стали бічними сутками перетинати леваду, відтак беріг ланів, щоб підійти під Богот.

Ішли мовчки, бо не складала ся гутірка, аж коли вступили в ліс, коли зелені граби потрясли буйними верхами, тоді й жура їх

опала, стало їм легше та звеселили ся розмовою.

На південнім спаді Богота було видно капличку, як ледве видним причілком із хрестом виступала з камяної скелі. Іван розказав Василеві, що її змурував прадід козачого роду, зайшлого знад Дніпра. Повнизше стояли їх борти і добре було козакам жити на лісовій поляні. Аж раз вернувши ся з Ярмулинців із ярмарку, застали всі борти на землі, а пчоли порозлітали ся по лісі. Знали, що се справа панських бортняків: сі били ся і з селянами і воювали з громадою; але хоч знали, мусіли козаки йти на Селище і там як вольні кметі взяли займанщину. Її вже лиш останки у Івана. Як прийшло до того, не потребував казати, а вернув іще згадкою в давнину, коли його предки жили на справжній волі. Про сі часи, про сю бувальщину переказують собі в їх роді, батько синови, дід онукам під старою липою, край города.

Як Іван сказав усе, тоді й Семенко, вважаючи, що його не займають бесідою, забажав розказати свою історію, звязану з повстанєм 1863-го року.

Їх рід служив у Яблонських, через що покійного батька звали Федьом, а його Семенком. Придбав Федь для свого роду ще друге намено: лайтнант, бо враз із борецьким паничем перекрадав повстанців через брід під Боготом та учив муштри двірських парубків. Без нього не міг борецький панич і кроку одного зробити. Але по свою смерть прийшов тут Федь з Бірок. Старший Яблонський, конюхівський пан, не мішав ся до по повстаня, лише під напором молодшого тримав у себе від-

дїл повстанців. За те його донька доти повстанцям сприяла, доки не втекла з офіцером на той бік Збруча. Федь переправив їх через брід, але пан у погоні наткнув ся на нього ще над Збручем тай застрілив вірного слугу. Там йому на памятку заткнули на високім скелястім березі білий хрест.

* * *

Уже той хрест почорнів.

Бідний Федь Многодїтний! За життя ходив прибитий, загуканий, навіть не звали його Тодором, лише Федьом, а по смерті давить його висока тай важка скала. Не поховали його між односільчанами, ніхто не ляже біля нього. Нема калини ані травки на могилі, хиба один розхідник винайде собі вузку стежку проміж вистаюче, миршаве каміне.

Сумна могила крепака!

І тихо тут. Збруч ледачо котить хвилі, повільний він такий, як хлоп подільський, загуканий панами кольонїстами та виссаний Жидами. То ворон закраче, то сороки деруть ся, хиба далеко на Боготі пташки співають, хиба з того боку надлетить та під скалою лягає тужна пісенька вартового, що сторожить броду.

Долі з водою зайдеш на ніч до Вільхівців, як впливе Збруч із вертепів і від Троянського викову вступить на рівне поле. Против води не пускай ся з полудня, бо не зайдеш у село. Хиба хто знає взяти туди на ліво, як сонце заходить, то може за ним зайти у Слобїдку. Високий Богот заступив сю затишну

яругу і з Федьової високої могили не бачиш Конюхова.

А в Конюхові змінило ся чимало. Пан зараз таки за Федьом пішов землю їсти — ляг біля дружини. Обидві дорогі істоти кинули його : одна пішла з костухою до раю, друга пішла з дурисьвітом раю шукати, а його лишили одного. Тоді він ляг у гробі. .

А добро його посїв брат. Після повстання змагав ся піти за кордон, бо там іще тлів повстаньчий огонь, але-ж і домів треба було вертати ся, лад дати. Брата не стало, а сестри бачили, що з Бірок може й не дістанеть ся їм нічого, коли далі так піде, коли Станіслав не вернеть ся. Отже вернув ся, Бірки спродав, обділив сестри, взяв за жінкою придане, часть довгів сплатив і лишив ся при Конюхові.

Конюхівці ніби жили як перше, тільки прибуло в селі нових гаадів чимало, бо що котрий парубок вислужить у війську, чи виходить кляси, зараз женить ся, відокремлює ся, ставить хату і вже він господарь. Користаючи з дозволу ділити мужицьку землю, забудували отак багато городів, що лежали при дорозі, а будували ся на таких малих клаптиках, що конем перескочив би. Навіть перепустили через городи дві нові перії і здовж попри них забудували ся. Тай де той майдан, що зеленів коло Селища та козацьку займанщину відділяв від Конюхова? Нема його : вже Іванів ґрунт обскочили хатки з городами з одного боку, а з другого пустили громадську дорогу мало не під самі бурти і здовж дороги поклали ся хатки. Тільки й пам'яті лишило ся, що сю частину села звали ще майданом.

На сїм майданї, але з краю під селом дарував город і хату поставив Федьовому синкови пан. І то не так синкови, як старій Федисї, але ся не довго жила і газдою зістав ся Семенко. То батько своїм житєм купив йому газдівство, а пан може би й не квапив ся, колиб не мусїв удову забезпечити. Сю ціну батьківської крови наче знаючи, Семенко впадав коло хозяйства і відразу став запопадливо дбати за те, щоб молодші пішли на бік, щоб він один удержав ся при ґрунті.

Яблонський собі-ж відмінив ся: з червоного революціонера став повітовим політиком. Управильняючи маєткові відносини мав нагоду і про народну справу холодно подумати. Носив він у душі політику історичної Польщі, тож дивно йому стало, що не побачив тотожности змагань і ціли своєї і ненависного табора. 67-ий рік, ся трубка до відвороту для польських політиків, застала його вже зміненним, а зміни доконали 63-ий і 64-ий рік, хоч зразу тогочасні події власне віддалили його були від станьчиків. Яблонський любив Русь, лише бажав проковтнути її, а 63-ий роздратував його, бо Русь не пішла під коменду тих демократів і реформаторів, що з реформами про домо виступили аж тоді, коли не мали власти і сили виконати їх. У Конюхові-ж поважили ся хлопці чинно виступити против пана і тільки вчасна втеча „валєчних гуфцуф“ відкинула пролив крови. На тїм самім ганку, де уклададо ся далеко йдучі пляни, де переснило ся стїлько солодких мрій про золоту шляхетчину, стояли конюхівські мужики узброєні і витягнули з жіночої алькови хороброго офіцера. Відпростовані коси не звернули ся против ворогів Польщі,

але против її оборонців! До болю пекуча злість обгортала Яблонського. Просто радістю було для нього тепер бачити, як ненависні дипломати потайно, хитро поборювали Русь, а ще більшою було самому до них прилучити ся. Так він кинув ся на повітову політику.

Ординація виборча до всіх репрезентативних тіл давала Полякам агута, а котрий повіт не належав до сих виїмків, де Русини мали якусь організацію, хоч будь який центр духового життя, там уже Поляки дуже йшли горою.

Станіслава Яблонського поважали сусіди за його жертви і втрати для повстання, знали, що він їздив трохи поза Австрію, пізнав трохи світа, а мав у повіті якоїсь фамілії і кузинів — тому вибрали його маршалком повітовим, піддали ся його проводови.

В 73-ім році прийшло ся перший раз безпосередно обіслати раду державну і тоді Яблонський виступив кандидатом із курії сільських громад. Напротив нього виступив частковий дідич з під Болотища, світський Русин, що в 48-і роки не відіграв виднійшої ролі у Львові, але був між основателями Руської Ради і заложив її філію в повіті. Там він мав свою посілість під місточком Болотищем тай розвинув сяку таку діяльність, що мала основні хиби иньших патріотичних праць на Руси тої доби і разом із ними засьнітилась, а на всякий лад, поки існувала, то стояла на нїм самім і слабля, кілька рази він виїхав із повіта... Здобув він тут і мандат; майже на переїмну здобував то знов тратив у користь Яблонського. Так і в 73-ім р. побідив Яблонський.

Сї вибори, некорисні для Русинів, трохи вразили здавна болючу та вже пригобну рану, незгоду двора і громади. Не забула ся вона. Двіроч стояв на горбочку — на краю домінікальних ланів, гумно і сад і економію обливала річка Тайна і зразу вже не стало там місця на хлопську хату побіч двора.

Тай так уже лишило ся на все: між двором і селом була пропасть. Не відвернути ріки і сама вона не висохне; хто хоче дістати ся звідси там, мусить іти через міст, инакше не буде. І згоди між двором і громадою не буде, поки стоїть на горбочку за рікою той двір.

При виборах не пішла громада з двором, хоч дехто, такий як Жид, як Семенко Многодїтний обзивали ся за паном. Та їх загукали.

Через сю вражду, яка тоді мала нагоду знов показати ся на сьвітло денне, скупили ся громадяни, а допоміг їм до сего піп.

Його попередник, товариш руського провідника в повіті, мав презенту ще від покійного дідича. Він якось і мирив ся з панами. От після повстаня служив дуже величну панахиду за Польщу. Казав виставити серед церкви чорний катафальк, усі сьвічки засьвітили, у всі дзвони задзвонили, а по церкві носив ся ладан. Замість „вічная память“ заспівали зібрані „Z dymem роżarów“ і перед виходом із церкви посипали ся на тацу гроші. Яблонський перший кинув десятку і менче вже ніхто не дав, а хто хотів іще ліпшим патріотом показатись, той кинув і дві. Лиш сиди в Конохові та жий — коли ві! Сховав гроші в гаманчик, а сам ходить тай нарікає, що не вдержить тяжкої ляцької неволі. Правда, що

шляхта польська геть-геть піднесла голову, а віденське німецьке правління відразу покорило ся новому приятелеви і старого раба Русина відразу їй запродало; але він гадав, що ніколи инакше не може бути і не буде. До тогож бачив за Збручем руську шляхту, руське правительство, письменство, якого не знав, і православну віру, а не сказав правди, що хоче лежаного хліба.

Ще в 14-ім в. київський митрополит Петро своїм іменем розпочав сю першу карту чорної книги усіх паломників на північ, і від тоді паломництво не переводить ся. Ще на рік перед конюхівським попом пішли туди до матушки навіть сьвітила галицькі, пішло і простих посів доволі, чи не піти-ж і йому?

Його наступник стояв зразу на боці, але опісля показав ся прихильником громади, хоч і не мав зразу нагоди, щоб узяти ся за діло. Та якось у сиропустну неділю над раном погоріла коршма, що як у кождім руськім селі так і тут стояла зараз побіч церкви, тай тому вдостоїла ся назви єввятої коршми.

Мошка в цілім селі зо щирої душі ненавиділи, бо з жебрака на їх очах та їх кривдою став богатирем тай став до людей зневажливим. Через те хто зачув, що сей дим і стовп огню, що червонить облаки, над коршмою гуляє, — радував ся. Та скоро минала ся радість, страх здіймав кожного, хто нагадав за церкву... Аж уже на місці бачили, що минає небезпека, бо вітер шарить до річки і на Запуст, а Мошкова загорода вже й догарає...

З жидівського нещастя скористав піп і на проповіді змалював людям проречистими сло-

вами, яке горе висіло над громадою, яку велику шкоду могла була потерпіти, коли би був огонь обіймив церкву. Тож зажадав, щоб народ із вдячності для Бога за таку ласку на цілий час посту закинув горілку. Народ послухав. Окоман відбудував коршму через кілька днів, бо матеріял мав, приколотків не хибло, а Жид дав десятку за поспіх — та в обновленій коршмі було пусто, а хоч і були які, то не давали торгувати. Пачку тютюну взяв хто, пачку сірників, побалакають тай забирають ся. Звісно, що пили деякі, без того годі, але не пив ні один із тих, що поцілували хрест та євангелію.

По такій пробі міг уже панотець притягати до присяги і так завязало ся братство тверезости. Велике одушевлене вступило в громадян, розхопили вони пару соток книжочки „Грамота тверезости“, купував її кождий, чи знав письмо, чи не знав. Конюхів достроїв ся до могутньої пропаганди тверезости, яка в 75-і роки обхопила Русь із небувалою силою.

Івана Козака сей рух захопив цілого. Хозяйство, сімя, робота в кузні, все те лишало в його душі прогалину, яка лиш тепер мала й заповнити ся. У всіх Конюхівців підніс ся настрій і хоч вели се ті самі банальні розмови при всяких сходинах, вони якось бальзамом коїли тугу дрімаючу в душі. В тих самих словах лунав якийсь иньший звук, що звенів чудно, виступав з-за них блиск, що осяяв сіру буденщину. Ба, навіть лайтнант був між тою громадою, що зарікала ся горівки, а він же звісний приятель Мошка.

Іван Козак попав тоді на гурток однолітців і звеселяв свою душу милими розмовами.

Тоді прийшла пора на те, щоб прочитати газету та книжочку. Статями в Науці і в Рускій Раді Наумовича так народ зацікавив ся, що нетерпливо ждали в селі почти, якою мали надійти газети, а Іван Козак нераз бив ногами півтора милі до Болотища, хоч на пошту ходив громадський післанець. Іван ніс газету до старого „врентого“ Пилипа, а сей в неділю відчитував її від дошки до дошки зібраним під давінницею Конюхівцям, а між ними не хибло ніколи Наума Кичака, Грицька Воввідки, Михайла Гливки, Павла Юркевича і молоденького парубчак Петра Стасюка, що всі поважні розмови старших так втягав у себе, як пільма сьвітляне промінє.

Зимою було вже більше клопоту, бо треба було йти до пан-отця до кухні, поки не надумали та не стали сходитись у громадській канцелярії. Чим далі, все більше цікавили ся слухачі тим, що де нового в сьвіті, як люди живуть, і тоді Іван став намовляти, щоб і вони завязали у себе читальню, коли газета пише, що по иньших селах скрізь їх позаводили.

Наче з душі їм узяв сю думку, бо дуже скоро на неї пристала громада, і одна лиш була справа: що скаже пан-отець? А пан-отець зрадів від таких замислів, але сказав, що читальня повинна стояти під покровом і в границях церковного братства. Людям усе одно було: хто там дивив ся, який покрів і які границі, горнули ся до сьвітла, бачили його в книжках, у тім друкованім слові, що з книжки читало ся і в тім піднесенім настрою, що на зборах зворушував їх душу. Дуже радо згодили ся на братську читальню і щиро горнули ся до неї.

За сим першим почином пішла й дальша праця: зробили зсип збіжа, щоб було чим ратувати ся на передновинку; Пилипів синок отримував для громади братську крамницю, а на кінці заложено громадську касу позичкову.

До сього руху горнули ся і парубки. Шіснацятилітній Стасюк збратав ся з вільхівчанськими парубками, з Галютою Сеньком, Питулем та Гавриленком, запрошував слобідчанських і завели собі то співи, то аматорські представлення, а по таких виставах молодь гуляла, старі ж забавляли ся розмовою та попивали чай без гараку.

Та се проминуло наче сон. Кілька років такого гарного розвитку, і прийшов занепад. Нагло і неожидано зійшли ся були до праці над відродженем своїм люди і не казали один одному, що кождий з них чув те саме, а тепер знов якось само із себе все розпало ся. Кождий відступив і пішов у свій бік. Не один поніс у душі той самий сьвятий огонь, що жеврів, тільки той огонь був уже попелом присипаний. Розійшли ся і один другому не виявляв, що в своїм серці носить. Хиба каса, що стояла під дозором властей, не впала, лиш ествувала; за те читальня і крамниця і навіть шпіхлр і навіть сходи́ни розсунули ся.

Не було кого за се винуватити, або винуватити було всіх нараз. Не було власної хати, а в чужій тісно. Єрентий Пилип зачав дерти носа, а старший брат тай усі, що коло воску в церкві ходили, хотіли бути старшими понад других. Іншим знов відразу було якось ніяково, і опісля здивовані поглядали на себе, через що саме в колишню хвилю збили ся вони в одну громаду? Поволи стали відсувати ся поодинокю,

а спільне діло стало костенити. Лиш парубки ще братали ся та ходили гуртами ба на одно, ба на друге, ба на третє село.

По цілім низеню під Боготом поселила ся тьма і підповала під конюхівський горб.

Тоді й Яблонський зотягнув аркан. Прийшли поміри і ґрунтові книги і тоді викинули громаду з ліса та з Кватирів. Хоч пан поставив свою ногу на всі ліси, але мов не бачив доси, як Конюхівці носили дерево. Ніби брали його за роботу в лісі, хто не купив за гроші, але брали всі. Тепер запродав вируб Жидови до Болотища і вже Конюхівцям зась. Поставив ся пан остро, рішучо, тай виграв.

За Кватири не міг від разу так брати ся, лише жадав „спасного“ від штуки. Як приходило до плати, то не всі платили, але де далі, як заходив собі з громадою, то й за плату не пускав худоби на пасовиско.

А після того всього почав підкратати ся до громади через лайтнанта. Давно вже погнили кости Федя Многодітного, та аж тепер пригадали собі вони оба, і пан і Семенко, за той гріб над Збручем тай стали справляти поминьки.

Що-ж — панахида, діло церковне та сьвяте; жадає хтось відправи, то піп читає, але по відправі зачинає лайтнант людей частувати. Першого року сам, а вже другого, то двірські фіри вивезли під Богот бочки з пивом, бербениці з сиром та коші з хлібами і почав ся пир.

Пан наче сьміяв ся над людьми, платив їм охлапами за такі мастки, як дуби та буки та пасовиско.

А Іван Козак не почув сеї наруги, ні, лише так йому було, як би щось дуже цінне і дороге, щось, від чого залежить його жите — таки на його очах упало в бистру, глибоку річку тай поплило.

Почув Іван сором за своїх односільчан, нагадав свої власні кривди від Яблонського, тай такий біль стиснув йому серце, що й на Василя не хотів дивити ся, не хотів його розмови. Зараз розійшов ся з ним та пішов лісом блукаючи.





II.

Іван кував у кузни.

Звичайно брав ся до роботи тоді, як натиснули на нього сусіди тай ждали перед порогом, щоб зараз хапати зпід рук, що було зроблене чи направлене. Тоді йшла робота скоро. Але кілька рази щось йому долягало, він також ішов до кузні. Не міг ані в хаті сидіти, ані в полю чи в городі працювати, лише брав молот, брав залізо і хотів робити, та по правді нічого було тоді не зробити.

Вчорашний день зворушив його. Задорожний зачіпив його незгоєну рану, а далі лейтнант дратував і ще повів над Збруч. Але скоро побачили з горба купку народа з попом та хоругвами, скоро побачили на поляні розбиті столи, бочки з пивом, візок Яблонського, зараз узяв із Василем на бік, пустили ся обійти гору Соколиху, звідки вже до Вільховець

менше ніж пів дороги. Семенкови не сказали слова, не попрощали ся з ним.

Чого Яблонському треба від громади, коли вже має Богот, Запуст і Кватири, коли вже має мандат? Нові вибори приходять іще не зараз, час іще за них дбати, шкода людей віднині напувати пивом. Нахвалював ся лейтнант не віднині, що стане війтом у громаді — та чи се до того йде вже, тай чи за ним аж сам пан буде побивати ся?

Як то нераз вітер, що гонять перед собою перекотиполе, принесе на город якесь погане насінє, і росте з нього бурян. якого ніхто не садить і не бажає мати, бо він лише безпожиточно сьвітло займає. Так якась доля принесла їм Многодітних до села; тут вони виводять ся тай супокій мішають то громаді, то на кого попадуть.

Таке й Іванови тепер припало від сього ворога. Його дочка Маланя знюхалась із лейтнантовим гульвісом тай годі...

Уродлива дівка! Вже як віддала ся, а в Тернополи під архикняжий приїзд була вистава, то зпоміж кількох красавиць обличено її, як тип уродливої Подольки.

Тай робітна, бо вже батько-мати до того привчали, і годяща вдала ся: не було їм чого жалувати ся на неї. Аж тут праск — пропадає за Юрцьом тай пропадає. Не переводить батькови хліба, та най би саділа ще дома, ще ваати на неї постарати і сама на себе заробляє... коли наперла ся замуж іти. Мати побивала ся за дочкою, бо їм діти не вели ся, мерло одно за другим; Маланка була перша, що доховала ся до 17-го року, другу мали по-

кликати до школи, а третє було при грудех. Плакала стара по закутках, умовляла дочку, потому корвила їй та гризла, колиж сї способи не помогли, здала ся на божу волю. „Так їй хиба написано“ — рішила.

Іван коли замітив, що Юрцьо крутить ся коло його хати мов яструб, коли чи не кожного вечера чув свист на вигонї, і бачив, що дївка виходить із хати на сей знак, зажурив ся без міри. Він ненавидїв Многодїтних, а тут його рідна дитина липне до ледаря. Коли-ж стара ніби про себе, а ніби так, щоб і він чув, стала приповідати, що дївчину пора віддавати, він із журби минав ся. Любив свою дитину, ще й як, а в хатї не хотїв мати пекла і все було уступав язикатї своїй жінцї — але як-же йому своїти ся з таким харцизою, як Семенко лейтнант!... Федь був попихачем у дворї, а Семенко обманець і кривдник тяжкий. Другий був би вже стояв із далека від сих панїв, що згладили його батька, але Семенко забігав там хлопцем, забігає і газдою. Що треба панови знати про село, все йому скаже лейтнант. Де треба обїзвати ся за паном між людьми, там знов обзиває ся лукавий лейтнант. За те він має дурнички: то зимівлю для бичка, то топливо, то для всеї худоби пасовисько в літї. Від пана позичав лейтнант гроші без процентів і ті самі гроші позичав знов людям, а за проценти зсївав їх поле. Робив так Мошко, робив так і він, а він ще вмів так обрахуватись із довжником, що часто за малу заплату купував у нього поле на віки.

Боров ся з ним не один, та що-ж порадить? Гроший усякому треба і всякий до нього йде, бо не позичить анї у попа, анї

у Івана, а каса всім не настарчить тай не всі для неї добрі й рівні.

Так росте його повага. Має він і ворогів, і таких, що звів їх на біду, і таких, яким не заподіяв одниничної шкоди, але вони стоячи за загальним, висшим добром, ненавиділи Семенка, темного духа.

Тай Іван його ворог. Поки ворогували потайки один против одного, але ось при виборах зайшли собі на остро.

Були се ті славні вибори з 79-го р., що дали Русинам усього трьох послів, хоч Русь років тому 2—3, здавало ся, гарно вела просвітну та економічну роботу; здавало ся: до весни йде. Але північно-східний шмат Поділя, маючи одного діяча з Наумовичевої школи Гальку, а другого ветерана з 48-го р., потерпівши що лиш недавно від сервітутових розбоїв, як раз вислав до Відня Русина, властителя зпід Болотища. Піп Галька мав чималний вплив на людей; близших осьвідомлював самим проповідуванем та агітаціями, дальші підпадали під його вплив, прибігаючи за гомотпатичними ліками, уздоровляючим медом або за славними щепами. А закутина під самими Медоборами виступила до бою тим завзятійше, що Яблонський був близько, на оці.

Хоч у Конюхові братська читальня вже пішла в розтіч, хоч і новійшої організації не було, то з причини близьких виборів Конюхівці сходили ся з Вільхівчанами, Слобідчанами, заходили до Бірок і Кільшанців, де знов сягав вплив зпід Болотища, і змовились до боротьби против Яблонського.

Вільхівчани були вже в довгім процесі зі своїм дідичем і ненавиділи пана, чи він звав ся

Яблонський, чи Лабенцький, чи як. Дмитро Галюта вів за них процес, Стефан Лоза підпирив кожду слушну справу, а Задорожний, добираючи собі молодших і цікавіших, дбав про вибори. Там вела ся агітація під окликом сервітутового процесу, тай так зробив Козак і в Коныхові.

Де-ж більше людей буває, ніж у коршмі, в млині та у коваля? Добрий був майстер з Івана, невелику брав плату, тож і перед кузнею часто мав повно людей, що прибігали з орудкою. Легко було тоді Іванови зачинати з ними розмову про вибори. Крім того сходили ся з ним Кичак та Вовідка та Гливка і Юркевич і приводили иньших, своїх та сторонських.

— Може ми хоч знаємо — казав Іван — чи є від нас який посол? Чи чули ми, щоб він боронив Вільхівців, Чернокоженців і всі села, що Збруч їм землі вірвав? Тож Дмитро Галюта з Вільхівців їздив до Відня сам, їздив і до російського царя шукати права за те, що Вільхівчан лишили без землі. Наш каже: „Ти Москалеви робив панщину“, а Москаль каже: „Ти не мій, іди до свого батька“.

— Тай гинь! — приповідають.

— Але Галюта не такий, узяв хліба й сала в торбу, побренькачів у платок за пазуху, палицю в руки тай наляг на ноги, тай до царя.

— А цар його розуміє?

— Ну, якже, або то не руський цар може?... Тай каже до нього Галюта: „Царю, государю, ми твої рабята панщину ділали, а помсщик сукін син землі не даєт“.

— Як не дайот? — крикнув цар.

— А ти, каже Галюта, забув, що в 49-ім р. послав своє військо нашому на поміч, щоби Венґра бив? Варта би і на польських панів трохи козаків пустити. Вже цар зачинає міркувати, а Дмитро додає: Тоди, каже, як ішло твоє військо, мій батько насадив верби на викопі. Го, го, ті верби вже вирости і кривда наша вирости і коло серця накинїла, вижидаємо спасителя. А був у нас один старший на кватирі, тай дав менї такий срібний дукач на знак. „Як вам — каже — будуть польські пани дошкулювати, а ви лише з тим знаком до царя, а цар уже порадить“. І дав дукача цареви. Сей як пізнав, зараз і каже: „Будь спокійний, я вам право зділаю, зараз до вашого царя напишу“.

— Тай Вільхівчани мають землю.

— Тай мають.

— Але не через нашого посла пана Яблонського.

— А де він був, як треба було промовити за хлопом за ті ліси та пасовиска?

— То мусїв би Кватири віддати.

— За нашї Кватири прислав нам виділ краєвий 341 р. 75 кр.

— І Богот був наш, а наше пасовиско славне, чи не буде там 500 моргів?

— А нащо було брати гроші? тепер уже і процесу не зведе.

— Як уже в право йти, коли гроші взятї.

— Дайте менї спокій з тим правом.

— Я вам знов скажу за Галюту — відповїв Іван. — Він процесує пана, тай що з того? Тягають ся по судах і нічого з пана

хлопи не витягнуть. Громада процесує ліс, а на Кадильній уже давно зерно родить ся.

— Тай кошти плати.

— Не жаль уже платити, як має що з того бути.

— То, то — підхопив Іван — певне, що не жаль, але то за дармо. Казали-ж нам тогди єгомосьць: „Беріть хоч гроші тай касу заложіть, так як пише газета, а ні, то й грошей не побачите, а ваші Кватири вже і так пропали“.

— Таж на таке воно й вийшло.

— Тай Яблонський хитрий: зразу не збороняв пасти...

— Питайте скрізь, чи хоч одна громада відбила землю.

— А Іван то як би в Вільхівцях був, так усе знає.

— Таж вони мають родину на Вільхівцях, Василя Задорожного, може знаєте, того що має крайну хату при Троянським вивозі.

— Де вона вже крайна, там уже дві нові обитачії підсунули ся під сам викіп.

— Добрий пачкар із нього був.

— Я сам пачкував би зараз, лише подавай.

— Не тепер уже, чуєте...

І пішли безконечні розговори про теперішні лихі, про давні, трохи лучші часи.

— А він, ніби Галюта, не може з тим дукачем піти до царя другий раз?

— Пішов би він, не бій ся, та що-ж? нема вже дукача.

— Нема вже?

— Де нині замовчить хто? Довідали ся за тую штуку пани, а наш Яблонський як по-

радив, а Дмитрова жінка з синком і так не хотіли, щоб старий по судах тягав ся, тай як змогли, то дукача вже нема. Виграли.

— Ото шкода!

— Ото жінка, ото син! Кому-ж уже нині вірити?

— Але той Яблонський на все порадить.

— За те його шляхта маршалком має.

— І в послн пхає ся він другий раз.

— А ми на те, щоби не пустити.

— Ніби то йно ми? тож є другі села.

— Ми своє зробім; кождий за себе.

— Коби то єдність, а то дивить ся, такий Многодітний, той розпинає ся за паном.

— Що такий заволока, лейтнант має до розказу? Ми тут газди і маємо свій розум.

— Іще вам скажу, що такий Яблонський наброїть чогось у Відни. Ще хто старший з вас, то буде знати, як він брав ся панщину у нас завести. Давав нам коси в руки, тай поїв нас тай казав нам против войська виступати. Пани були би сховали ся, а цісар найби лише знав, що мужик із косою на його войсько йде, так би не завів був панщину на ново?... Я сам відгинав ті коси, тай добре мені заплатили — але кажу я до своїх хлопців: то ще не знати, кого сими косами рубати-мемо, чи буде так, як хоче ся Яблонському?

— А Яблонського хтось би пустив до Відня?

— Ну, міркуйте-ж, кождий за себе най робить, а кожда громада знов за себе. Як того не забудете, то Яблонський так буде послом, як я паном.

І не забули громади в Болотянським судовім округі, в повіті і в сусідних повітах,

коли Яблонський справді не зівстав послом. А що вже в самім Конюхові та в Бірках, то не знайшов би одного голоса для себе ані на лік. Сі нікчемненькі, що раді би за панську ласку за ним обізвати ся, поховали ся, тільки один лейтнант виступив явно. Але тоді Іван, сповняючи думку чесноі громади, виконуючи засуд народній, зневажив його перед усіми людьми, потурбував. За те посидів два тижні в арешті, але всякий у громаді приймав сей його вчинок за свій...

А поганець лейтнант прийшов учора до нього до хати та запросив на поминки! Забув сей гнів, що тлів у їх серцях і зробив із них непримирених ворогів. За сі роки чув Іван на собі пакісний гнів Яблонського і брудну руку Многодітного, але і вся громада чула панський гнів.

Яблонський як батько повітовий добре вже кривдив права конюхівської громади, де лише міг, вишукував для неї всі тягарі, а відшибав усякі користи.

Так само межі громадою і двором запанувала ворожнеча. Пасовиска давно вже не давав Яблонський людям навіть за гроші, до церкви перестав навіть у найбільші празники приїздити, хоч мав там свою лавку, сьвічку і діставав цілувати діскоє; людям мало коли показував ся на очи, а найбільше вже пакостив із лісом. Жидок кінчив уже вируб, та ще підмовив його Яблонський, щоб фіри до тартаку замовляв у Кільшанцях, а не в Конюхові, а ліс для людей то вже сам запер. До свого не допускав, а де Жид мав вируб, там дістав реєстр кількох господарів, яких подав лейтнант, і для них не було дерева на продаж. На двох чи

гръох стежках і при всіх лісних дорогах поставлено таблиці, а на них був намальований якийсь страшний звір гербовий, ще й написано: Панство Королівщина — вступ заборонений! Такий острій наказ, що ніяк не годен сповнити його.

Куди не гляне Козак із своєї високої могилы, всюди довкола ліси. Запуст, підбігаючи аж до річки, так і просить ся перебрести її і самосівом підійти під Іванову оселю тай захистити її від напасти, а свої верхи клонить огникови на поталу, щоб лиш дати тепла козачим дітям... Богот високо підняв ся верхом і пригадує сі часи, коли лагідно панувала тут конюхівська громада, а тепер із сокирою в руках гуляє по нїм нахабний Жидок, вирубує дерева, запродує дорого на сусідні села, та в болотянськїм тартаці пилить. Тільки тобі, Іване, не вільно зрубати граба за те, що ти не хотів послом мати драба — свище вільха та дре собі горло... А Козакови не хоче ся терпіти наруги. Вже лейтнант із побережником попалили сих, що купували дрова буцім для себе, а вивезли Іванови та вже й їм пан заборонив приступу в ліс.

Тоді Іван збунтував ся, збурила ся кров у нїм. Що, не гуляв він молодцем у лісі, не рубав дерева, кільки треба та звірини не стріляв? Що-ж за таке право вийшло на сьвітї, що хтось мав узяти ліс, а відтак забороняє ногою у нього вступити та за гроші? дров не хоче спродати? Від коли Іван себе знає, відколи тямив покійного неня, то знає, що неню анї він, чужого не кивали. Раз було в кузни у нього багато людий, були і два сторонські, а другого дня досьвіта знайшов Іван на землі

п'ятку притоптану болотом. Та хіба він мав хоч гадку, що сї гроші можна сховати? Ні, один із сторонських признав ся до них, Іван віддав. І дерева, що з божої, не з людської волі росте для людей та для зьвірини в лісі, чоловік не краде. Іван пішов у Запуст, цюкнув сокирою, повалив грабчака, обчімхав, зв'язав і в білий день, явно та славно несе домів. Ледво спочив у хаті тай з'їв щось, як уже набігли побережник та підлісничий у хату, оглянули граба на подвірю тай записали, а відтак пішла до суду скарга: від пана за лісову шкоду, а від Жида за крадіж.

Тодіж як у хаті в Івана була напасть, то лейтнант лише попід ворота ходив, а на подвірє вступити не сьмів іще. Вчора вже прийшов у хату. Правда, що очи спускав у землю, але потому наче приятель розмовляв із Іванихою тай усіх попросив на поминки.

Іван не був там, але жалусь, що не приглянув ся, котрі то пють пиво від Яблонського, котрі їдять його хліб та квасний сир. Знать уже ніяково дідичеви дальше борбу вести з громадою, через те й почав уже забігати коло людей. Що буде, то буде, все таки за два чи за три роки приходить вибір, а хоч і без того, то тяжко в гніві жити. От і прислугує ся Многодїтний панови, щоб стати війтом, а тоді рука руку буде мити. Ще минушого року не вдала ся штука, але вже зимою м'якший став двір на люди, весною давав пан на відробок на ціле літо, хоч робучу днину чистив кривдюче дешево, а вчора було на сїй гульні в лісі в двое чи в трое більше народу, ніж торік.

Важко було Іванови від сих думок, але найгіршого волів не догадуватись. Тільки-ж як вертав на обійстя, з викопа шульнув наче собака лайтнантів Юрцьо. Маланки не було в хаті, аж по хвилі всунулась, а хотіла ввійти незамічена. Та батько вів уже з матір'ю не-любу розмову, гримнув і на дочку, навіть розмахнув ся кулаком у потилицю. І так підняла ся кериня. Дочка „стала шторцом“, а мати тягне за нею і каже, що божій волі не спротивить ся: най Маланка віддає ся за Многодїтного, коли сподоба її богацький син. Таж не те гоже, що гоже, тільки те, що миле. Іван побачив, що нічого не вдіє і тільки гнів забирав йому силу тай здоровле, а сьогодні він такий збіджений, що на силу орудує мотком.

Відложив його тай задумав ся зітхаючи. Важких таких його дум та зітхань закостеніло вже в тій кузні не мало, висять вони під стріхою тай важким каменем налягають на Іванову душу.

Що за кара впала на нього та через рідну дитину? Треба-ж йому такого свата як Многодїтний? Таж він із ним не погодить ся ніколи. Як-же тут весіле опровадити, як у хату пустити такого мерзенника, тай частувати?... Бив ся Іван із гадками, яким тут способом зарадити лихій годині.

Тай зять який! А хтож не знав лайтнантового Юрця, що не по коршмах, байдигує, а до праці не візьметь ся? Старий має з ним угриаків немало. Просив, щоб хоч до війська взяли, але не остригли, бо нікчемний вдав ся: малий на зріст та ще якийсь ганч у нього знайшли... Яке-ж немне, а яке нелюдяне! Кому

лиш стала ся чи на Майдані, чи „над Митницею“, чи за рікою яка потайна пакість, то навіть не питаючи ти нікого за неї не бій у шию, лише Юрця, бо в тій части села він один ночами гуляє дібравши собі гарну компанію тай по п'яному то ворота відчіпає, то худобину з під забору вижене на вулицю, то галузе на щепях обломить, або таки вкраде, що в руки влізе Ніхто другий так без сорома не водить ся з ськими-такими дівками, як Юрцьо.. А тепер ось упало на ковальову Маланку! Не варта вона вже кого ліпшого, лиш такому гульвісови буде вішати ся на шию?

Як би то з Юрця була дитина у свого батька, не бій ся, Семенко шукав би маєтку для нього, а коли вже дозволяє йому брати Маланку без приданого, то лиш через те, що й сам уже не знає, як почати з синочком, кого нещасливим через нього зробити.

І така досада взяла Йвана, що край; чи брати йому молот і джаган та кузню валити, чи підсісти вечір на Юрця та голову йому провалити, як буде кружляв коло його пустки, чи доньку на шнурку припняти? Стискає молот у руді, ніби хоче до роботи взяти ся, а тут чує, що хтось на нього лихими очима споглядає. Відвернув ся, а то Многодїтний стоїть на порозі. Хотів Іван поскочити та молотком вг'ятити по голові — але поміркував ся.

Лайтнант був іще сьмільйший ніж учора, сказав се й те, покрутив ся, а далі виймає фляшку з-за пазухи.

— Наші діти полюбили ся — каже — благословім їх та най здорові газдують. Коли ваша думка, то під вечір старости прийдуть.

А Іванови серце крає ся.

— Змидував ся Бог над ним, — каже далі Семен — спам'ятав ся мій хлопець. „Буду, каже, женити ся, тай газдувати.“

А Івана наче ножем шпигає.

— Я свому даю лиш нивку, бо він уже взяв своє у мене. Але як буде по моєму, то дам йому ще, таж ми з собою на той світ не возьмемо, як якийсь казар: що чоловік заробляє, то все на діти та для дітей. Правда, свате?

А сего було вже Іванови досить, бо він іще не сватом лайтнантови.

— Я — каже — нічого своїй не даю, бо ще їй рано замож, най ще сидить та приучує ся при матері.

— Та мати вже дозволяє, то видно, що мамі не зробить уже сорому молода газдиня.

— Ще й я маю слово сказати, а я не позволяю.

— За мого, чи за кого будь?

— Ні за кого не позволяю, а за вашого ще й потім.

— Я з вами, свате, не хочу перечити ся, але не можете доньки спирати. Не дайте нічого, то мама їй дає, і по сім слові будьмо собі здорові.

Тай пішов із кузні.

Мав же тепер Іван пекло та гірку годину в хаті. Вже його воріг добре змовив ся з донькою та з жінкою, вже вони могли робити, що хотіли. А не пристав Іван згодою, то вони й не питали ся більше. Він як женив ся, то записав був жінці половину свого города, а вона за те продала свій півшнурок на його довг та на весіля та на корову. Чи міг добряга Іван

знати, що з того колись вийде? Тепер лейтнант вишукав се у табули і стара збирала ся записати свою частку на доньку і на зятя по половині. Вибрала ся до нотаря зо старим лейтнантом та з парубком, бо сей знов підписував батькови, що дістає від нього нивку, а більше йому ніщо не належить ся. — — —

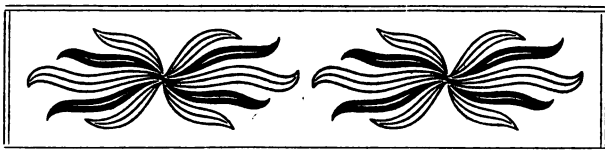
Вже Іван ізсох та сивіє від журби, але не порадить нічого, бо вже грамота підписана, вже Маланка ходить просити на весіле.

А мали про що розказувати, як весіле відбуло ся. Пішла про се обмова, як то Іван доньку благословляв, як до молодого йти не хотів, про все розказували. — — —

А Іванови здаєть ся, що йому Богот на груди впав та здавив, так зажурился. Чув, що від того зятя чи свата якась біда, якесь нещастє його найде. Наче хтось шептає йому, так серце прочувало недолю. І ради на се нема ніякої, бо нещастє як не наздогонить, то зачекає, а Многодітному знать мало було звиватися по селі та поле скуповувати та вислугуватися у дворі... то прийшов аж тут на його прадідну селитьбу, збурился жінку против чоловіка, доньку против батька, посадив за тинном нелюбого зятя і сам пішов собі дальше свою кертичину роботу робити. — — —

Почав Іван зразу шукати розради в чарці, поки поволи не став звикати, не став зживати ся з тим, що дала доля.





III.

По правді, то не мав чого Яблонський мстити ся на Конюхівцях, коли не пішов до Відня. І тут же, дома мав що робити, чи в повіті, чи в своїм добрі.

Колись сю землю, що належала до Яблонських, звали Королівщиною, але тепер ся назва забувала ся, хоч Яблонський казав її писати на таблицях під лісом. Мусіла забувати ся назва, коли область корчила ся, а нині держав ся Яблонський при єднім Конюхові, тай, то з тяжкою бідю.

Станіслав сам родив ся в Болотищу зріс у Кільшанцях, господарив у Бірках, оженив ся в Конюхові. Що і з Конюхова може піти, про се не думав, бо вже не було куди сунутись. Так само не знав гаразд і не розважував як слід, щб саме витискало їх із родинних маєтків, що пересувало їх ляри-пенати все ближше над Збруч, щораз ближше під Богот тай загнало аж у Конюхів. Він знав лише, що

його батько мусів продати Кільшанці Жидови, що п'ять літ пізніше пішли за Кільшанцями Бірки, а тепер йому в Конюхові тісно.

Не зазримічав шляхтич, що доходи з майна меншають, а житє йде на ту саму ногу, що й перше; не бачив, що господарки нема кому доглядати, хоч має з неї жити рій дармоїдів, а у них же є родина і діти пнуть ся до верстви з великими вимогами стану. Не вірив би також, що нищить його борба з громадою і політика. А хоч би й повірив, то щож? Ходили Яблонські до повстань, почавши від конфедерації барської до Костюшка, уважав себе Станіслав покликаним до проведу в повіті, тож не схотів повіта із своїх рук випускати, а в кінци міг іще й себе поратувати, займаючись повітовою господаркою. В тім напрямі жила також традиція в їх шляхоцькій родині ще з часів польських, коли муж на публичнім становищі не соромив ся „привати“.

Отак почав Яблонський повітові дороги будувати. Віддав підприємство тому Жидови, що закупив у нього вируб, а через те дістав маршалок вишу ціну за ліс і всі гроші з гори. Але при сій будові достава шутру була важніша ніж що, на ній і покінчилась справа. А покінчила ся з такої простої причини, що коли шутер стояв уже в метрових купках по лівім боці гостинця, то дороговий кондуктор наказав пересипати його на правий бік і тоді за нову доставу шутру повітова каса виплатила до рук маршалка гроші.

Виділовим треба було також дати заробок, тим більше, що се була фамілія, були кузини та свояки. Нарік почала ся будова дороги, а при тім дозір, люстрація, комісія, ви-

плати, дієти і иньше. Мирно та в згоді ділили ся виділові, а не забували й на маршалка. Сей мав трохи клопоту з інжинером. Швагер його жінки, часто-густо помічний йому і потрібний, служив був трохи в бюрі технінім у Львові і був занятий при будові залізницї, а тепер висїв без добре платного місця. Тодї пан маршалок іменем ради повітової вимовив місце дотеперішньому фаховому інжинерови, Крулевякови, загнаному в сі сторони бурею 63-го року. Був він уже тепер зайвим, бо вже давно начеркнув помір і плян трасованя та кошторис кількох повітових гостинців. Не було иньшої роботи, отже він мірив і черкав поволи, добре, совісно, бо щось робити мусїв. Колиж уже були пляни готові, можна було його віддалити, бо при виконаню міг його заступити кузин пані маршалкової, а коли б йому було тяжко, то й дороговий кондуктор тай дорожник.

Ну, не пішло з ним так легко, бо сей наївний чоловік уважав себе покривдженням, говорив про визиск, хоч у повітовій касї лежали його остемпльовані квїти на побирану ним плату через той власне час, коли він їздив і робив поміри; сказав навіть таку нісенїтницю, що належить йому звернути пляни та кошторис, — алеж стрїв ся з заслуженим насміхом. Виступив перед повну раду і грозив навіть. Та щож! не перепер свого, бо декрет службовий мав дістати аж тепер і власне з сього скористав хитро маршалок.

Поїхав інжинер з нічим. А як виїздив із повіту, як переїздив через усі повалені містки, хоч кошт їх направи нераз уже був і ще нераз піде в повітовий бюджет, коли їхав по трасї, де сам вбивав колики та витичував до-

рогу, міг собі на потіху хиба пригадати, що його попередник так само уступав із прокляттями на устах, бо треба було повстанцеві зробити місце. Тепер уступає він, а теперішній його наступник також колись уступить, скоро треба буде комусь дати добру посаду. Бажав йому зазнати сього як найскорше.

Із своїм чоловіком ще краще було вести будову і давні кошториси кинути в кут.

На покриті великих коштів зараз гойний високий сойм призволив у Болотищу тай другим містечку наложити мито, не згадуючи вже містечка повітового, де знов призволено підвишити консумційний податок. Крім того повітовому містечкову признано мито на цісарським гостинци, а на сій ново пущеній дорозі виставлено аж дві рогацьки, бо одна шоса вела з міста на захід, друга на північ. Правда, що ні одна, ні друга не сягала дальше як на чотири кілометри, пятий вже плавав у болоті на „польській“ дорозі.

Така благодать упала на повіт, а сойм був на нього вибачний і ласкавий, бо послувався пан Яблонський і засідав навіть у дотичній соймовій комісії.

Користаючи з побуту у Львові доконав Яблонський сьмілої операції в банку: сконвертував давню позичку, а затагнув сьвіжу, дуже високу, бо якось так представило ся, що ліс іще нерубаний, що тільки зачне ся рубати нарід, як визначать секції.

Прийшов час ловів і сойм розпустили. А тоді треба було Яблонському подумати про повітові вибори.

Склад ради не вимагав основних змін у першій курії. На місце Лешка прийшов Ме-

чек, бо першому не залежало багато на мандаті, був уже старий, а Мечек був його кузином і кузином п. маршалка. Дальше на місце Пивоцького прийшов Жарлоцькі, але між ними окрім ріжницї назвиск ніякої иньшої не було, хиба ся нерішаюча, що другий бував точно на всіх нарадах. Та знов із його мовчазної присутности був такий хосен, як із неприсутности першого. Ся курія, само собою розуміть ся, давала також маршалка, бо ще, слава Богу, не прийшов той страшний день, що бурить лад і порядок, церков і державу. Сим маршалком зістав знов Яблонський, бо не мав ворогів між панками, а великий крикун пан Гембські, державець Слобідки, що лиш недавно прийшов у повіт, позволяв собі поки що лише в приватних розмовах критикувати „фамілію“ та лагодити ся на маршалка. Публично ще не виступив поза границями своєї громади, де був шкільним предсідателем і громадським асесором.

Курія панів, то такий собі ідеал шляхотського раю, де крук крукови ока не виклюв, а коли треба виміни гадок, то трицять чи сорок людяма не тяжко порозуміти ся при пирі, чи як.

Не так уже у курії міській, бо тут уже пануюча в повіті шляхта мусить робити уступку на річ міської „інтелігенції“, Жидів і, о горе, в ради-годи і Русинам уступити б... Жидівський делегат власне переніс ся на лоно Авраамове і ось-ось висів над повітом сором, що треба буде тепер приймати иньшого пейсатого. Та якось Яблонський, що сам обкладав себе Жидками і кроку без них не міг зробити, з'умів вибрати такого лікаря, що лічив убогих Жидів

за дармо і тішив ся лиш трохи меньшими їх симпатіями, ніж чудотворний цадик із Болотища. Против нього не відважив ся вже ніхто видвигати Жида, а що лікар був із походження Русин, як свідчила метрика і правдиво руське родове назвиско, тож уже й Русини-міщани повинні його вважати своїм кандидатом... Так удало ся Яблонському при однім огни спекти дві печені, одним маневром обминути квестію жидівську і руську.

Тяжшої боротьби надівав ся Яблонський на селах. Тай слушно. Його товариші або не бачили грози, або чинили ся відважними, або були легкодушні. Яблонського-ж минувшість, його участь у повстанях, де так багато говорило ся про люд, а ще більше бажало ся використати його силу для своїх цілей, лишили якісь сліди, підшептували йому обережність і не дозволяли легковажити розбуджувану свідомість національну і клясову, яка тут то там живійше проявляла ся або власною силою або була акцентована через проводирів. Його чутке вухо підслухало шепіт і журкіт живої течії. Та з другого боку і минувшість шляхетчани і прихильність центрального правління до Поляків і слабі успіхи опозиції мусіли заглушувати розвагу, а примір иньших шлятонів та бута шляхотська золотили гороскоп.

Впрочім по зрілій розвазі рішив, що дотеперішня практика найлучша: *divide et impera**). Слабого, а при тим „porządneho“ Русина все можна найти, — його пригорнути і вести на мотузочку. Сильнішого, як лиш добра нагода, палюгою та в лоб, але бий з заду. З проводи-

*) Роз'єднуй, а володіти меш.

рями все держати мир та згоду, добрі товариські відносини, а тимчасом здавлювати тихцем накорінок і підставу — хлопський рух. Де треба і годен, пошукати самого жерела грози.

Живих жерел було немало: тут то там, наче в серпневу ніч бачиш, що в ріжних сторонах під гаєм підлітають сьвітляні хробачки. Тут виступав против нього Іван Козак, там процесував ся за громаду Дмитро Галюта, а там на Слобідці заложили хлопи читальню без попа.

Та вже найгірше, коли якийсь сьвітлий проводир стане на чолі і кермує сї сили куди схоче, з більше, чи менше широко обдуманим пляном.

Таку прояву бачить він за межою, у Кільшанцях, із отцем Дубом.

У Королівщину закрав ся ворог, що розкине тихий рай, розбурить враждою мир і на руїнах виросте в гору, високо — червоний демаґог.

Має шляхта на калаурі свого раю між иньшим право патронату. Воно дозволяє не пустити до села таких попів, що стануть за народом, а против пана. Так щож! Кільшанці і Бірки дістали ся в жидівські руки, а патронат висмикнув ся з рук шляхотських і от. Дуб прийшов у Кільшанці.

Його патріотична робота звернула відразу увагу на нього. Яблонський пригадував собі, що свого часу, перед десятима роками Дуб був завідателем у Слобідці, але більше розповів йому латинський парох. От. Дуб учив історії та літератури в гімназії, колиж заведено польську мову викладову в школах, висьвятив ся і пішов на сільського попа. Сей учинок дає вже пізнати

чоловіка, тож не диво, що цілих 10 років блукав він по Голодівках та Терпилівках, поки вінці дістав парохію від консисторії.

Яблонський пізнав от. Дуба в дорозі до Львова, куди відправляла ся депутація до архієпископа... На все лишить ся йому в пам'яті ся горда постать високого, худого попа з кістлявим лицем, із гордим поглядом з під густих, зарослих бров, із поглядом, що покоряє иньших, а виносить понад них самого деспота. І голос його, густий бас, висказував погляди певні, рішучо, неомильно переконуючі.

Признати мусів Яблонський, що чув себе присмиреним в його присутности, бо бачив, що се чоловік високо інтелігентний, всесторонно освічений, з широким поглядом на світ, на людей та їх справи, має великий досвід і через те переконує в розмові. Сього саме й бояв ся Яблонський, бо уявляв собі цілий його вплив на людей одної нації, споріднених поглядів, одних стремлєнь — хиба що слабше розвинених.

Оправдує ся висказ старости, що з тим попом буде багато клопоту. Але старий бюрократ із мізком загвождженим польськими формулами не вмів його захопити й зрозуміти, колиж почув тут то там про зростаючий його вплив між попами й мужиками — в безсильности своїй бризнув одно: москаль. Так і описав його і до прийняття делегації через архієпископа, де задає ся виписані, заздалегідь вивчені питання про погоду, дорід або жнива. От. Дуба спитали: звідки він? Колиж виміняв свою парохію, то почув із натиском, що се село лежить на російській границі. „Also an der äussersten russischen Gränze?“ спитав архієпископ у друге, оберта-

ючи ся до дальших учасників. От. Дуб пізнав відразу редакторів і не здивував, але випрямив ся на цілий зріст і сказав, що на саміській російській границі в вірні і льяольні горожане, а коли їм чого бракує, то цісарських урядників, що виконували би совісно і для всіх справедливо обовязуючі закони.

Сей одвіт зробив буцім немиле вражінє, але в душі кождей признав, що слід поклонитись тому попови з далекого кута над саміською границею.

Назвав його і Яблонський своїм симпатичним противником, та не міг освободити ся від думки, що прийде колись до боротьби між ними... Дуже йому не сподобалось, що от. Дуба відвідували мужики з близьких та далеких сіл, що шукали у нього поради.

Сьмішно було Яблонському чути, що як коли приймав у себе от. Дуб мужиків, то саджав їх за стіл прикритий чистою скатертю, заставлений посудю, а навіть серветками. Сьмішно було йому чути, що вчить їх їсти так, як їдять „добре уроджені“. Стілько би горя було! Але там і Конюхівці заходять, там ведуть ся розговори, наради, хоч би й не наближались ніякі вибори. Заходять там молодий поет Стасюк, заходять і старші, між ними Іван Козак. Так казав Многодітний...

Минув тиждень, минув місяць, і Яблонський отряс ся з прикрих почувань. Годі — казав — лякати ся вовка не бувши в лісі; поки що от. Дуб ладно себе веде, боввих кличів не чути. Наскілько знав, то в повіті не було ніякої організації у Русинів, щоб відповідала Раді повітовій, де збирає ся шляхта плекаюча традиції державної самостійности, політично

вишколена, відвічний проводир польського народу, свідома мети своєї політики. Дрібна інтелігенція, купецтво і бюрократи чи добровільно, чи й не дуже тудили ся під її крилами і шлягони могли безпечно сидіти в окопах сьвентей Труйци.

Склад сільської курії в радї повітовій потребував невеликої зміни, чи доповнення, і то в такий спосіб, щоб не підносити ані не розмазувати руської справи. Через те й рішив п. маршалок, що ще одно місце в сій курії має дістатї ся Русинам... ну, звісно, комусь із нешкідливих. Хотїлось йому також впровадити туди свого чоловіка, Многодїтного. Сей бажав такої чести і просив о те, а впрочім бачив і сам Яблонський, що позиточно буде мати його між хлопськими делеґатами.

Замисли сї не тяжко було сповнити: легко було помістити одного Русина в лїстї, легко було прийняти до неї Многодїтного, та цілком несподівано вийшов з урни от. Дуб, з ним іше один піп, от. Мисливий, і два незапрошені через Яблонського мужики.

Ся несподіванка немилу вразила всіх у повіті. Доси Русини не багато уваги звертали на раду повітову, тай тому ні махери, ні староста не напружували ся надто, хоч зачували, що Русини лагодять ся тихцем до якоїсь акції. Яблонський чув навіть, що от. Дуб мав трьох ад'ютантів, Стасюка з Конюхова, Сенька Галюту з Вільхівців та Остапчука зі Слобідки, але перше не прив'язував до сього надто великої ваги, а тепер по неволї дізнав дуже немилого вразіння.

Коли серед членів повітової ради переступала поріг салї висока, худа постать нового

радного от. Дуба, Яблонський глянув на нього быстро і очи їх стрілись... На салю впала тінь і обморок, серце у шляхтича затіпалось, перед очима закрутили ся чорні плати... Виразно побачив він на цілій підвалині подовжну рису і почув, що з сим чоловіком треба буде побороти ся, тай — лягти... Через пару хвилинь глянув на те саме місце і жадної рисочки вже не бачив, осінний вітер дув за вікном і тінь довгої, безлистої галузи сувала ся по білій стіні, спливала на долівку і голубила ся на чорній рясі от. Дуба, що сів собі між селянами на лаві позаду крісел і не хотів підійти ближше.

Ніякої риси на недавніх мурах не було, але прикре почутє не щезло. Блукаючи очима по садї за великим вікном, задзвонив маршалок і привітною промовою відкрив нову сесію ради.

Коли скінчив промову, був уже цілком спокійний. О скільки бачив, то о. Дуб старав ся щось робити серед Русинів — се йому можна; против нікого і против Яблонського не виступав — се йому хвалить ся. Чим журити ся наперед? Повітової господарки чей зачіпати не буде, хоч радним зістав, повних засідань ради бувало мало, а в міру потреби буде ще меньше, всі документи держить ся в тайні, отже й вільні вони від критики, а найважнійші справи, боеві пляни і иньше... се перенесе ся із засідань виділу на приватні з'їзди, виконане важних справ подасть ся лише до відомости, тай по всім.

*

*

*

Батько повіта не забував і на своє село, а печалива його рука слідна була тим, що Семен Многодітний, зіставши війтом, почав уже господарювати в селі по своєму тай не чинився вже справедливим. Так він брав усяку опіку, де був сиротинський ґрунт, а ніколи не прийняв опіки над бідним. Сиротинський ґрунт він обробляв, а за годівлю дітий рахував перед судом та буцім третому виплачував кошти, сиротами-ж обробляв ся, що й слуг держати не потребував. За безпорядки в селі, за дозвіл шинкувати до пізної ночі, за дозвіл на танці, за всяке урядове посвідчене — накладав грошеві датки на свою користь. Був не лише війтом, але й оглядачем і таксатором, свою хату віднаймав на канцелярію, своїх слуг-годованців посилав із письмами по селу, о скільки не доручив паперів по службі божій перед церквою, і так уже брав собі плату поліцає громадського. Де можна було хоч марного феника загарбати, там він робив се не надумуючись і — достатки його росли.

Загуляв при тім добре, почав кланятись скляному богови, бо війт, та такий ще як він, має до того що дня нагоду. Та не такий же Многодітний, щоб пропивати своє добро: за комір не вилле, але гроші та маєтки збиває та багатіє. Тут виставив будинки, там відвінував доньку, а сам землі вже має доволі. Ні, не доволі, йому все мало, все старає ся за більше. Так він посів уже й Козакового города половину.

Можна було знати, що Юрцьо прогайнує все, що має. Тяжка, покарана була година старим, поки сей лежень сидів при них. Короткий час показував, наче справді хотів

статкувати, але скоро виказалась його давна натура — пішли гульні, сварки, а коли доходило до бійки, відділились молоді та почали хату ставити на своїм. Старий Многодїтний дав дерева, а Іваннха вже мусїла робити як конина при сїм будованю. Але глина до тої хати мїсила ся горїлкою, не водою — стїлько її випили. А була вже хата готова, то гульні та бенкети не переводять ся: з одного не прочумаєш, уже другий іде.

Гризли ся старі; таж то їх праця марно йде і то у рідних дїтій. Козак жалує за своєю землею, а стара кає ся, що її причина: не помогла би була дочці, не знали би були паниці. Такі думки думають обоє тай не сплять, лише качають ся з боку на бік; Іван позїхає, а стара плаче, або молитви шепче, а віконце в Юрковій хаті блимає слабим сьвітлом, що в могилу їх жене, а нераз крики та співн врывають ся в тишу, облїтають стару хатину та повалять її на них.

Що-ж найважше, то се, що Маланка перейшла на його віру: не він, не й вона. Виросла ще висша, і налила ся, роскішна, що лиш зглядають ся на неї, а иноді як напе ся, як іде з коршми в затоки тай ноги волочить, жаль дивити ся. А мамі рідній не жаль, серце їй не трїскає, ні, тїльки повалила ся стара, захорїла тай бїльше не встала. Пішла землю їсти й покинула Івана з дрібними дїтьми. —

Вже Юркова нивка та не Юркова, вже свою хату треба покидати — пішло все на марне. Вже Юрко допиває могорич, а лахмате та крам зложене на фірі. Маланка випивши йде за фірою, їдуть на чуже село, на службу,

до скарбу. Ще на її лиці слідно, як брудним кулаком розтирала сльози, але горілка прогнала жаль. Іде Маланка мовчки, несе дитину на руках, старше лежить на возі закутане, а Юрко сварить, публічить старого тестя, що не хотів прийняти їх у хату. І ніхто йому не противить ся, лише вітер мете за ним купки снігу, проганяє геть на нову селитьбу, на чуже село.

Тепер мав Іван спокій, а мав хоч до того часу, поки сніг не зліз, земля не зазеленіла. Сирітська пустка споглядала непотішена. Хатина не тужила за такою хозяйкою, що лишила її полупані стіни, повибивані віконця, немиті двері. Воробчики під стріхою цьвірінькали по давньому, але туги не розганяли і дихав від пустельні гірше лютий холод на Іванове подвір'є, ніж із північним вітром. Крізь діри в тині шульгають собаки та гризуть ся на городі, або покачає ся яка по мерві, що стелить ся на подвір'ю. А часом рипнуть ворота, то Івана по душі ріже. — Вже й так невесело живе ся йому, самітному вдівцеві з невеликою дитиною. Старшенька від Дмитрика знов померла, а сей ледви чи буде жити. А чи буде, чи помре, то Іван мусить у хаті палити, їсти варити, а добре, як коли-тогда прийшла стара Корниліха тай змила головку малому, та колє шматя лад дала. Часом приходила, але наймити ся не хотіла у вдівця, будь він і старий... а другої наймички нема. Сидить мале на пальовиску, кулить ся, а батько кує та бульбу пече у приску, а на дворі студінь.

Та не так болить його серце за нього самого, за дитину-сирітку, як за сю пустку, що за тивом. Була се колись його земля з діда-прадіда, там його любий, вишневий садок.

Кілько ночий пролежав він у нїм, на сопілці граючи. А тут прийшло: записав старій. Та не на те записав, щоб межею ґрунт ділити, ба, коли прийшов такий, що поділив та ще й чужому продав. Не вільно тобі вже піти на свою землю, можеш лише понад пліт дивити ся. О, дивити ся можеш та серце собі кервавити. А кому продали? Як відси виходили, то, як якийсь казав, щоб хоч прийшли були та сказали: дідьку, чи чорте, так і так. Щоб хоч були в хату наплювали — ні, нічого.

Згадав тоді Іван старшого сина. Сї думки ховав він глибоко в серці і бояв ся їх випускати із тїни. Ся тїнь лежала на нїм цілім, аж чоло вкривала і всувала ся в морщини. Але як туск великий розсаджував груди, тоді він викликав перед очи одинака, що його зрадив, покинув. Приняв панську одіж, чужу мову і віру і відрік ся хлопської родини. З такою натугою думав про сина, що наче живий проходив він поуз нього, а коли старій мав молот у руках, то готов був розсадити ним череп зрадника.

Погадав собі за свої діти, кому він плекав їх, на що ростив. Той зрадив, ся за ворога віддала ся тай сама ворогом стала, кількоро в могилі, одно мале, що рід його має вдержати, сидить скорчене, слабе, тай що з нього буде? Яка будучність, яка доля? На кого працює, для кого трудить ся, хто йому з під ніг ґрунт видре? На що йому сей молот, що ним викує? І кинув молотом під ноги, аж у землю його вготив, сїв на поріг і зросив землю сльозами, а свою грудь облекнув від горя, що каменем її давило.

З весною виявилась страшна тайна: старий Многодітний підставив когось до купна, за песі гроші набув синову оселю і зараз же наймив її Жидови Воронови.

Перший раз Жид забрив на Селище. Навіть на Майдані їх доси не було, аж тепер приймуть ся. І то від кого початок? від Козакової займанщини. Івана дур брав ся.

А тимчасом лайтнант верховодив у селі. Було село мирне і тихе; він прийшов, захотів старшувати — ніхто не противив ся, бо ніхто не знав, чого він хоче, лиш бачили, що до двора ходить — от він і захопив у свої руки власть і став отаманувати. Далі тягнув усі праведні та неправедні зиски з уряду, заскакував коло пана, їздив до міста і кого міг, то приєднував до себе, щоб не стояти самому одному з паном лиш проти громади.

До тепер таких сторонників вязала залежність від двора або від Многодітного, грошеві справи, потреба пасовиска, звільненя від бранки або від вправ військових, податкова екзакуція... але се не було тривке. Тепер мав знайти ся сполучник, що на історичнім тлі нерозвинених культурних обставин руської суспільности міг мати і мав велику вагу.

До тепер парафія Королівщини була в Кільшанцях. До неї крім Бірок та Конюхова належала Слобідка, давно вже запродана княжній, Залуче над Збручем, та ще 2, 3 села ближе до Болотища. В них назбирало ся стільки душ латинського обряду, щоб дати парохови невеликий дохід, про який він не дуже потребував і дбати, бо костел мав добру фундацію з добрих, давних часів.

Але стан сей змінив ся, скоро філя агресивної польської політики стала прибувати. А се діялось поволи, майже недостережено. Ріжні бували остаточні причини, що видвигали з під землі костелики, так як ріжний (а ніколи чистий) був стиль їх будови та ріжно-родні фонди, між тим, коли правдивої не то не виявляло ся, а то й не досліджувано. Русини сказали нераз, що „є нова твердза“, чи якусь подібну фразу, тай по всім. Між тим парох знав своє, що хоч в кілька костелів, то тепер кожда дочерна і кожда матерна мають з осібна числити по стілько душ, кілько числила колись матерна з дочками. Пускав отже в рух душехватство, яке послуговалось усякими способами. Амвон та сповідальниця віддавали першу прислугу, а сі, що стояли на чолі противної сторони, сірої маси, руські попи були совісні, делікатні, з моральними засадами і мєриторично критикували. Ксьондзи-ж робили своє дальше. Се *ecclesia militans*.

Сей з молодших, що прийшов до Кільшанців, намовив Яблонського побудувати твердау в Кільшанцях.

Яблонський, його син і домашний учитель не дуже були побожні. Пані, дочки і гувернантка — сі вже їздили четвернею до кільшанецького костела, а перед їх приїздом навіть не починала ся служба божя. Через таку недогоду був би ніколи не станув костел у Конюхові, та не ходило про їх догоду, але про душ спасене иньших. Ксьондз казав: цар Александер говорив, що розуміє републику, розуміє абсолютизм, але що в монархія конституційна, що се таке? І я розумію православє, розумію католицизм, але унія, що се таке? Се замасковане православє,

і з ним треба воювати, або невироблений ще католицизм, і треба приспішити його розвиток.

Воював і приспішував, а до сього дуже потрібний свіжий костел.

Яблонський і сам розумів, що поза історичним Drang nach Osten ревного католика говорив із нього і польський патріотизм. Адже бачив, що відкриті парохії, котра несе з собою польську мову, до котрої належить висша класа суспільна, певно розгуртує сіру до тепер, а йому ворожу громаду. Намовляти його не треба було.

Досить було сказати, що Дубови буде сей костел сілю в оці. Таж Яблонський не мав у повіті більшого ворога, як Дуб. Сей піп не тільки критикував повітову господарку тай то ще так переконуючо й з насміхом, що навіть самі шляхтичі слухали його потупивши очи, але ще збирався згуртувати ліпші сили селян, а інтелігенцію прихилити рішучо до люду та склонити до з'організованої праці. Ще не прогук по краю голос вічевого дзвона, що 80-го р. скликав півтретя тисячки Русинів на велику раду до Львова. Не та рада, але той дух щирого збратаня і поступу і жива надія красшої будучности підняли вічевиків, вони її рознесли по руській країні тяжко неволеній та темній.

Отець Дуб із сими вражіннями прийшов на свою парафію та став трудити ся. Ширив „Батьківщину“, заложив живу філію „Просвіти“, а що до політичної роботи, думав і заходив ся, щоб вона в цілім повіті ведена була одноцільно.

Вже кілька років трудив ся, працював ревно, рук не закладав і надіяв ся дійти до

бажаної цілі. Вибори до парламенту, за які прийшлося йому подбати, не дали доброго успіху, але показали розумну акцію, а в соймі був від сього повіту послом руський священник, що хоч багато балакав, але говорив иноді і розумні речі та служив Руси як умів, поки не прилип до Романчуківської „угоди“. А що вже нові вибори до ради повітової вийдуть на користь Русинам, Яблонський не сумнівав ся. Отже мусів „ділати“.

Не тратив надії, упував на силу жандармських багнетів, на старостинські штучки виборчі, на підкупства, а всеж і позитивної праці не забував. Збирав ся оснувати в селі захоронку під управою польських служебниць і сподобав собі замисли свого молодого пароха, щоби здвигнути костел. По иньших селах, тут то там, де було хоч троха латинників, вже костели стояли, або хоч посвячене місце ждало. В Конюхові не начислив би більше як 20 латинських душ і то в самім таки скарбі, а надто не було фондів, а Яблонський не вилазив із грошевих клопотів.

Та тепер політичний інтерес і ксьондз наперли на Яблонського, а маєткова справа також поправилась. Дідич зотягнув нову значну позичку, отже міг сяк так прийти справі в поміч, а впрочім більшу часть видатків на костел можна буде покрити так, щоби не коштити ся. Тепер він дома, займає ся господаркою, повітом та селом, отже має такі способи.

Дерево казав зрубати на Боготі, хоч вируб був запроданий, камінь казав Многодітному лупати на громадським березі, а возити за шальварок. З ради повітової прийшов війтови наказ, що громада в сім році не потребувати

ме ніяких напрям дороги, отже всі престайні обовязки громади має він обернути на будову костела. За порадою Яблонського сповнено сей наказ скоро, щоби проволока не дала часу до незадоволення, толків, поради й опору. Так випалено цеглу. За тим пішли складки, дохід із кар громадських, які тепер сипались, відтак жертви і фестин із забавами, штучними огнями і томболями.

Дрімучий, підскубаний через Жидка Богот здрігаючись приглядав ся на те саме місце, де Семенко Многодітний справляв поминки за батька. Була тут тепер також криклива курба, але панська; тут одні прийшли здобувати ласку своїх начальників, другі пити алькоголь, а все лиш на те, щоб під якимось позором дерти гроші на сьвятиню, в якій жертвуючий і молитви не змовить. Богато було там принадних видумок, за які платило ся до рук гарних дівциць гроші потрібні для будівельного комітету... А за огорожею стояли ті, задля яких будувало ся костел і приглядали ся на панську забаву.

По тій же забаві будова справді зачала ся і вела ся скоро: гроший і матеріялу не бракувало, тому й робота не ставала. Многодітний належав до комітету і що міг, те з доброї волі робив для задоволення пана та ксьондза, але не з доброї волі став він одним із благодітелей сього храма.

В той час була в Конюхові люстрація громадської каси і люстратор, хоч наперед заповів був свій приїзд, хоч був дуже вибачний, мусів, примкнувши вже очи на закриті недобори, ствердити брак трьох соток, які повинні були побіч дрібнійшої суми лежати в касі.

Спитав про них; лайтнант щось крутив, але лихий сам на себе за невдачу, рахуючи багато на ласку маршалка, гороїжив ся, обидив люстратора і майже явно сказав, що маючи Яблонського за собою, не боїть ся нікого. Тоді люстратор, щоб не сходити на урядову дорогу, чого виділ „не любив“ — пішов із війтом до двора.

Многодітний перечислив ся, рахуючи сліпо на пана. Там як раз говорило ся про нього недавно і окоман висказав свої підозріня, що війт при будівлі костела краде. Почали рахувати, кільки у нього поля і показало ся, що се може перший богач у селі, хоч 20 років назад не мав нічого крім двоїх дітей. Окоман відкривав Яблонському очи з пімсти. Мав бо такого сьна як лайтнантів Юрцьо і хотів того урвителя оженити у Многодітного, але сей не зламив ся на зятя пана, лише відповів, що йому треба робітника та статка. Сим зробив собі ворога, що почав йому натоптувати на п'яти, а помалу хотів йому заперти вступ до двора.

В таку пору явив ся в дворі війт із люстратором, а тоді Яблонський не панькав ся з ним. Пішли до кабінету, пан запер двері, нахилив ся над ним та крикнув :

— Драбе, ти вкрав три сотки!

Семен потупив ся і мовчав.

— Драбе, ти вкрав три сотки! — крикнув Яблонський у друге і поклав важко руку на його плечі.

Семенко ще мовчав, лиш очима кліпав, дожидаючи штурханця.

— Де гроші? — гримнув пан і затиснув кулак, щоб вибити приятелеви зуби.

— За нивку заплатив.

— А видиш, злодію! — сказав Яблонський і порекнув сьміхом стрясаючи з себе злість. — Хлоп як би не вкрав, то згине.

Многодітному зробило ся жаль і досадно.

— Лиш половину, бігме половину, ясний пане.

— А друга?

— Я дав на косцюлок, купив зеліза, заплатив за фіри, привіз цементу.

— Брешеш, лайдаку! — поскочив пан у друге і дав здорового стусана.

— Абим не дочекав! — застогнав лейтнант, похилив ся тай зробив жалібне обличчя.

Яблонський впав на добру гадку.

— Знавш що, Семенку? — сказав. — Вірю тобі, що ти вже дав половину на костел і вважай, щоб мені Жид не впоминав ся за гроші, а тепер знавш, що зробимо? Других стопятьдесять даси також на костел і то до трьох днів.

— Як то дати? — поблід Семен.

— Відрахуй півтора сотки на руку, тай так даси. Принесеш до мене, я дам тобі квіт і ти спокійний, а не принесеш до трьох днів, — не будеш війтом і ще підеш там, де за дармо годують.

— Змилуйте ся, ясний пане, відкиж я бідний візьму стілько богато гроший?

— Тихо, Семенку! Принесеш гроші і по всьому. Будеш іще читаний, щось дав три сотки на костел, а не даси, то будеш суджений, що три сотки украв.

— Але най буде до 8 днів — просив ся лейтнант, надіючись у довшім речинци ослобонити ся якось від напасти.

— Най буде чотири дні — згодив ся маршалок і покликав люстратора.

Сей при від'їзді опечатав гроші, які були ще в касі, не позволив зірвати печаток, поки сам нарочно в сій цілі не приїде, прибрав до каси два замки і ключ до одного віддав війтови, до другого касієрови. З тим поїхав, а був дуже незадоволений самосудом пана маршалка.

Многодітний у друге перечислив ся, рахуючи, що його довг забудеть ся: окоман мав особлившу приємність у тім, що кожного дня рано пригадував його довжникови. Видячи таку постійність пішов лейтнант третього дня вечір до свого комірника Ворона.

Жид уже давно лоточив йому голову, бажаючи купити сей ґрунт. Був би йому догідний, бо давав опору на цілий Майдан, Селище, та „за керницею“, але Семенко доси ще спекував ея напасти. А тепер прийшов роздраний і бажаючи покрити неспокій, пустив ся в широку розмову, та аж після довгої хвилі зажадав завдатку. Жидови все одно, війт чи не війт, обіцяв гроші за тяждень, відтак за пять днів то за три дні. Колвж почув, що треба зараз дати, або найпізнійше завтра рано — урвав із ціни пятьдесятку.

Многодітний вив ся з болю, терпів тим більше, що розумів кожний тяг сеї операції, не раз же він її виконував на других. Але носив вовк, понесли і вовка, а Жид купив оселю.

Проміне осінного сонця вже ломало ся на куполі костелика. Посвятили його торжественно, по проповіді відчитали ктиторів і благодітелів храма, між ними й Многодітного,

а під вечір запустів обкопаний цвинтар, померкли сірі мури... Стоїть він за рікою, за провалом, високо. Невеликий, невисокий, а баня тяжка, широка, на подобу мітри гет невідповідна, та показує претенсію. Її хрест гордо пнеть ся, щоб блистїти понад убогою руською церковцею, але церковця стоїть мов мати між хлопськими хатами та садами, а ся мертвечина відсунула ся за ріку, на скелю, під ряд з двором. — — — — —

Прибитий горем, з розбитою душею шняпав Іван по своїм обістю. Не мав тої тяжкої біди, що зимою: і худібку легше обійти і наймичку дістав..., але біль не уступав ся з серця, лише давив груди. Жура виганяла з хати, а не мав бурлака до кого йти. Коли дружини не маєш, до дітий піти не можеш, то вже ти, сердего, сам один як палець, хоч село велике, хоч сьвіт широкий. А до коршми кождому нільно і не питають, коли підеш дальше. І він заходив до неї, та вже тепер остогидло...

Пустив ся до кузнї, бо робота ждала, а Іван лиш тоді робив, коли була охота. Відчинив двері, взяв ся міркувати, чого де треба, як що робити, але молот не йде в руки, нема що вугля жарити. Посидїв тай вийшов.

І так, як був, переступив плотик, пішов на подвірє, а з подвіря на огород.

Ґрунт був тут спусковатий. Іванів родючий, ситний огород похияв ся легким спадом до річки, але не досягаючи її берега спер ся на поклад каміня, що його чисті филї підмивали й котили ся невпинно дальше. На лївім березї річки, за полями підіймали ся зводами Медобори з високим Боготом.

Іван зійшов у низ аж до скали, вступив на кам'яну стежку, і обкружуючи свій огорож межею, подав ся на вигін тай став підіймати ся в гору на „пустку“, на могилу. За могилою в низу лежала долина, що вибігала аж на підніжжя гір за десятима гонами і від осіннього подиху повони вмирала. Та не глядів Іван на неї, на золоте павутиння, що летіло в повітрі, чіпаючись кожної бадиллини; глянув на Богот і бачилось йому, що хтось спускає ся стежкою на Запуст. Слідив його хід, шукав його за корчами, коли поринала за ними висока по-стать, але й покинув її та потонув у власних думках.

Колись над сим Боготом, як сходило сонце, то світило над їх добром; колись як заходило сонце на Кватирах, то завертало їх худібку до дому; а тепер Богот конає, а на Кватирах пан сіно косить... З Боготу пішло дерево на палату, пішло на костел, іде на всі села, а Конюхівцям зимно. Чого-ж наступає пан на нас? Має стільки землі, стільки лісів, чомуж він нам усьо, а всьо бере? Забрав у нас добро наше споконвічне, йде за нас до сойму, до Відня, в громаді наставляє лайтнанта війтом, а сей відбиває у мене ґрунт... Нема для тебе, хлопе, нічого, сам ти стоїш на своїй слабій силі, тай не надій ся нічого...

Було тихо і сумно на великій, пустій долині, тільки відсувала ся на ній усе дальше та дальше довга тїнь могили. В горі над полями звив ся живий голосний віночок ластівок, понизив ся, розвив ся ланцюхом у довгий ряд, завернув ся ще разів зо два, прощаючись. Там

були безпечно й Іванові ластівки. Весною прилетіли вони на своє давнє місце тай стали підправляти, а другі на ново ліпити гніздочко. Але воробці, що ні орють, ні сіють, а їдять готове зерно, стали відбивати їм готове гніздо, а друга пара не дала ластівкам докінчити зачатого і сі мусіли летіти шукати в иньшій місці долі для себе. Як жаль було Іванови скривджених ластівок, але вони літували тут, а тепер летять у иньший край, де вічна весна, де нема холоду. Там за ними воробці не полетять уже.

А кудиж тобі йти шукати тої землі, де нема зими, де гнізда тобі не видруть?

Тимчасом із Запусту вийшов Стасюк і вже стоїть над річкою. Се він ішов із Боготу, видно, не забув у ліс ходити та соловейків слухати. Але вже соловейків від коли нема, а батько женить його на друге село до Слобідки, — ніколиж йому вже по лісах волочити ся... Відпрошував ся, доки відпрошував, але вже годі. Вже старому парубкови трицятий минав, а в хаті нікому господарювати, відколи мати охляла...

Куди-ж се він? до нього, в хату? Махнув йому рукою, замахав капелюхом і Стасюк справив ся на могилу.

— Здорові, дядьку! Грістесь на сонци? Коли-ж воно не гріє.

— А ти на соловії ходив?

— Де-ж уже співають? Але нам тепер співають иньші птахи пісні побіди і свободи.

— Мені співає ворон за плотом, а пугач на кузни.

— Може то не вам. Але чому ви не показуєте ся ніде? Ми читаємо книжки і газети;

одним читаю я, другим Онисько, а на куті Будз. Ви хіба забули ті часи, коли отримували у себе читальню? І ми відкриємо незабаром читальню.

— Петре, де ти ходив?

— Ходив до пустельника, бо гадав, що може здибаю там Стефана Лозу з Вільхівців. Маю лист до нього.

— А не був із ним Задорожний?

— Не було.

— Варта би піти до нього. На самоті розбивався чоловік із думками, а так би піти до родини.

— Коли-ж підете?

— Не знаю.

— А пустельника нема вже; кажуть, що заложив монастир.

— А ти до мене чого йшов?

— Маю вас кликати до от. Дуба.

— До кільшанецького?

— А щож.

— А чого?

— Скликає людей. Лозу кличе і вас і слобідчанських і ще сторонські будуть.

— А ти у дівчини не був, лише якийсь збір скликав?

— Лишій, Іване.

— Ні, по правді, хто нам буде писати пісню на весіле? Будуть за тобою бігати до Слобідки; таж ти як виписав весільному старості пісню, то міг її читати на панськім весілю.

— Буде і без мене.

— Та буде. А коли-ж весіле?

— Нині була друга заповідь. Але скажіть мені, підете до Кільшанців у середу?

- Ніби з тобою, чи сам?
- Можу вступити по вас.
- Поступи тай підемо.

Стасюк пішов, а Іван дальше думав свої думки на самоті, бо свого горя не показував нікому. Перед ніким не розкривав душі, бо вже сам лякав ся, кільки там суму. Ціла пропасть.

Не жити йому було, як иньші тихим хоч убогим життям хліборобським: на хліб заробляти та родину вдержати, кривду терпіти та гнутись? Хто не терпить кривди, скоро вже мати над колюскою співала журливих, кріпацьких пісень?... Що-ж, коли займила ся в душі іскра, збудились нездійснені бажання, тай пропав супокій, чи лиш — байдужність. Окрім кривди власної чув кривду свого стану і терпів іще більше.

Коротко тревало се перше тай не остатне відроджене, сей розмах до широкого лету, що пірвав Іванову душу в країну ідеалів.

Але відвічний ворог пустив навальну бурю і почала ся борба. А тихий, зболілий голос тоді нашептав сумніви і розбив душу...

А там прийшла негода, тяжка недоля з Многодітним, пекло в домі. Він забув про сьвіт божий, громадські справи понехав, дарма що о. Дуб давав провід далеко не такий, як Галька та Борисікевич. Він мужика вважав своїм братом і рівним собі чоловіком. Та як раз чув Іван тасну знеохоту до нього.

По своїй привычці бувший учитель чи не більше звертав уваги на молодіж, ніж на старих. Запрошував до себе гімназистів та академіків, давав їм книжки, зводив безконечні розмови, духа їх гартував і заходив ся виро-

бляти у них самостійний характер. І сільських парубків стягав через Стасюка до себе. Розповідав їм, якими громадянами мають стати, скоро прийдуть колись на своє газдівство, давав їм книжки. Найбільше чарував їх своїм золотим словом. Се їх хапало за серце, бо доси, через те, що в них ні хозяйства свого, ні сім'ї, ні права голосованя не має, ніхто не звертав на них уваги. Вони-ж книжки перечитували скоро і пильно, тай що то молодим людям перебігти із Вільхівців до Конюхова, або з Бірок до Слобідки, до Кільшанців. Замість співати сороміцьких пісень, щоб аж плоти хитали ся, замість бігати безнастанно за фартушиною та бійку через те заводити, вони вже мали иньші думки та поважні замисли.

Козакового хлопця пізнав о. Дуб, як сей робив смілі поміри і черкав плян та поучав майстра, як треба пересипати дзвіницю. Се так Дубови сподобалось, що будучи сам убогим, роздобув у одного заможного священника гроший тай післав його на науку. Без труда дістав ся сей до реальної школи, хоч уже в літах був. Але побувши там років 2 чи 3, пізнав ся з інжінером та став їздити з ним за помічника при сипаню залізничих шляхів.

Заробляв добрі гроші і не хотів уже ходити до школи. Їздив до нього о. Дуб — але хлопець не послухав його намови. Тоді вибрав ся батько — але син стидав ся хлопського сардака і втік від нього. Приїхав Іван зажурений. Не міг свого сина згадати без болю і без гніву, не міг згадати о. Дуба без жалю... Коли однак кликав так явно та славно, коли там стануть иньші, лише його, Івана Козака, бракувати має, він піде. Пообіцяв ся — і піде, але от збудилось його неприспане горе і він заблукав ся

в своїх невеселих думках, наче в лісі неприступнім.

Уже гай стемнів, уже з гружівна підіймилась непривітна пільма і облітала конюхівський горб темними крилами, видала навкруг холодний подих смерти, як Іван пішов у саїтну хату.





IV.

Отець Характерний не заїхав на рундук своїм фаетоном, лише казав фірманови підїхати під браму та ждати на умовлений знак, не випрагаючи коний. Так усе робив. Немиле йому товариство -- він устане, вийде тихцем, а фірман готовий на поклик і вже о. Характерний відїхав.

Важко було йому зайти до о. Дуба, от і пішов він у зільник, а звідси підняв ся кам'яними сходами на відслонений до полудня ганок тай сїв на лавку.

О. Характерний, як совітник і містодекан мав поручене переслухати о. Дуба наслідком своїх власних таки доносів до консисторії. Очевидно декан не хотїв брати ся до немилі справи, а донощика знав і тому дав йому вести слідство, щоб zarazом дати йому можливість вчасного поладнання кривди. Характерний вимовляв ся, як міг: то слабував, то хотїв зложити своє містодеканьство, а всеж

таки по упімненнях мусів перевести слідство. Отже сидів тепер на лавці і обтирав із лица піт. А вибрав нинішний день, бо приятель його о. Ович, другий містодекан, маючи запросини на збори до о. Дуба, обіцяв ся тут приїхати і додати Характерному відваги, тай нині схоче Дуб збути справу двома, трьома словами. Змовили ся на 8-му годину рано, поки з'їдуть ся иньші учасники. Але чи додержав Ович слова? Обіцяв так, що не можна на нього числити, а спитати ся нема кого.

Характерний сидів, чинив ся стомленим і припочиваючим, ловив вухом кождей гамір у кімнатах і дожидав когось, хто перший вийде. Не знав, що замісь Овича, приїхали, тай то ще вчора на ніч о. Мисливий, Спирідіон, Далекий та Крутій. А вже Крутій знав усе, що діє ся в хаті; він стежив усі рухи Характерного і з усьмішкою пішов його привитати, бо господаря не було дома.

Характерний дуже зрадив. Правда, що пустив на Крутія не одну клевету тай тяжку, але сей мав гладке товариське поведєнь, в нічім не був свідім і Характерному неохоти не оказував. Впрочім умів від усякого, і від нього, вивідувати ся щось цікавого. Характерний був іще рад сій стрічі ізза того, що Крутій був ревним приклонником, а Дуб ще ревнійшим поборником нової ери, отже числив на се непорозуміня, а навіть пустив кілька фраз, щоб заявити ся против політичної безоглядности о. Дуба. Крутій з їдким насьміхом повитав у московській характерній амфібії прихильника нової ери і взяв ся по майстерськи витягати з нього урядові тайни та кондеканальні сплетні.

Минуло кілька хвиль і вже Характерний сповідав ся перед розмовником зо своєї задачі і дав переглянути папери з консисторії. О, горе! О. Дуб подавав своїм вірним фальшиву науку про піст. На письменні закиди і візване до оправданя, відписав більше менше так :

„Неправда, мов-би я ширив якусь ересь, неправда також мов-би я хулив піст. Я сам у часі посту їм мясо лише раз на тиждень, а здержую ся від тютюну і напйтків — шануючи церковний звичай. Навчаючи вірних, бажаю хйба надати постови иньше ніж до тепер значіне, але то згідно з духом церковних постанов. Без усяких наказів не їсть же мужик скоромно, а вже як прийде піст, він умертвляє свій пісний організм надмірно.

„В піст стає мужик іще тяжший до мисленя і розумної бесіди, ніж звичайно, працює невидатно, а навіть його змисли від надмірного посту тратять силу. Кожного вечера стукали по моїм частоколі латинники, вертаючи з костела, де ксьондз фанатизував їх та літаніями бажав їх охоронити від впливу церкви і мого. Переконав ся я, що не робили сього хлопчиска-пустяки, але сліпота людей нападає. Коли по містах діспенза є правилом, а піст виїмком, не вважав я потрібним голосити на селі застарілу засаду. Правда, жінкам заборонив я морити себе, але дівкам, парубкам і чоловікам накладав иньшу страсть. І так є у них похвальний звичай носити темні хустки та гарасівки і не строїти ся в коралі в часі посту. Сей звичай старав ся я скріпити і утвердити обовязково, надто наказував молодіжи вести себе особливо чемно, мужчинам наказав у середи та пятноньки курити і остро заборонив

гостити ся трунками. Крейцарі, які мали піти на почастинок, приносили парохіяни на церков і по проповіді був кожний поіменно почитуваний за такий учинок.

„Хто мене обжалував перед начальною властею, повинен іще був доконати ся, як взірцево вели себе мої парохіяни, чи в часі посту дали яку роботу судам, жандармам та громадській поліції, або заробок коршмарови. Я задоволений ними, вважаю їх людьми і вони себе людьми вважають.

„Тяжкий економічний бит відхилив потребу наказувати хлопови умертвляти орґанізм, се жерело праці, якою всі живемо, а нинішній устрій суспільний не дає мужикови можности в часі посту віддатись аскетичним заглибленням у свою душу. Назову щасливою сю добу, в котрій давні постанови що до посту наберуть актуального значіння.

„Перед двадцяти роками архієрей іменем апостолів дав мені власть навчати вірих. Се я роблю. Чи догми віри я маловажу в науці, про се можна буде пересвідчити ся в часі канонічної візитації. Не перечу, але визнаю отверто, що догмам признаю друге місце. Яко християнин і сьвященник у словах своїх, учинках і науці виходжу із становища любови ближнього, його добра і користи, бо від любови починав учитель церкви, Христос“.

Характерний прочитав, заломив руки і видив ся на Крутія.

Сей похитав головою і сказав, що дивує ся, як міг Дуб післати консисторії таке письмо, якого там ніколи не зрозуміють.

— Та не дивуюсь — поправив ся — се чоловік слабій, знаєте, що сухоти у нього змогли

ся і добивають його, тому він часто виходить із рівноваги.

— Але на саму річ, на його науку, що ви скажете?

— Його правда.

— Ви може лиш хочете мене добре на-строїти для него? Таж і без того, як знаєте, я йому прихильний.

— Ей, ми знаємо, що о. містодекан усій братії прихильні, а хто від вас що має, то хіба що доброго, по^тчим вас мав би споминати.

— Не сьмійте ся, але ви робили би так само, як о. Дуб, коли його похваляете?

— Не сумнівайте ся про те.

Характерний перепудив ся, а Крутій грав із ним дальше.

— Я признаю ся вам — говорив Характерний по хвили — і то лише перед вами буду такий отвертий, що я сам похваляю ревного сьвященника о. Дуба, і не розумію, за що його консисторія переслідув. Але нам не можна з тим виступати.

Крутій глузував собі з містодекана і по-вів його під корч лїліяку*), де о. Дуб мав свою лавочку і стіл до читаня та писаня. Вже осїнь підкрала ся в дївочий зїльник, звалила зелену руту, позривала з боу листок за листком, як досьвід, як жите вялить надїї, зриваючи полуду одну по другій. Убогий домок приходський осьвічений на однім причїлку зйшовшим сонцем мерз у холодї осїнного ранку, стояв наче забутий. Видно було, що господарі шукають своїх цїлий поза ним. Вона несла тягар господарський, а він віддав ся справам за-

*) Лїліяк = боз.

гальним, руйнуючи свій бит і своє здоров'я. Але вбога хата була гостинна. Невеликі скляні двері самі відхилили ся, щоб і Характерний ішов у їдальню. Через пару хвиль вийшла на сходи добродійка з дуже лагідним лицем і тихим, солодким голосом просила Крутія на каву, бо о. Дуб казав собі післати сніданок до закрестії, а иньші гості вже сидять за столом. Її спідниці держало ся руками нечесане, босе дівча, плигало довкола мами, шарпало та загортало ся в широку спідницю мов у шаль і викричало. Мати гладила її по головці тай лагідно заспокоювала.

Характерний покинув розмовника, підбіг до добродійки, вицілував руки і шарпаючи за п'ятами по кам'яних плитах став розпливати ся в солодких фразах. Її лице побіліло, коли побачила прихильного для їх дому сусіда; вимовляючи якусь фразу, запрошуючи рукою, пішла в хату.

Відтам виходили вже клуби диму, чути було, як гості свобідно ходять і розмовляють, а о. Мисливий сьміяв ся з Крутія, що поки сей никав по городі, вони вже каву випили. Почувши се Характерний не входив уже до середини, лиш остав ся на ганку, а побачивши на подвір'ю наймичку, переймив її на лету тай став питати, коли приїхали гості, куди пішов господар, де поїхала панна.

За малу хвилю вийшли всі гості в гордець і привитали ся з Характерним холодно. Всі пішли оглядати будову церкви, а його й не дуже запрошували, але Крутії остав ся з ним для розмови. Ще перебила їм служниця, коли вийшла сказати, що їмость просять на каву, але Характерний казав подякувати.

Крутійови сказав він, що гріхів о. Дуба в більше. Вичисляв їх.

— Я — відповів Крутій — не вважаю сего над'уживанем сповідальниці і тайни пока-
ннїя. Ви хиба не знаєте, що латинські попи
ведуть із проповідниці та при сповіди виборчу
агітацію, відстрашують від церкви і т. и., а
проте ніхто їх слідствами не переслідує.

— Але се не должно бути.

— Тепер він уже й не потребує накла-
дати такої покути, бо кільшанецькі й самі вже
знають, що робити, і слухають його доброго
слова, від коли пересвідчили ся, що він лиш
їх добра бажає. А зразу дармо приказував
обсадити деревами небезпечний яр, де розби-
вала ся худоба і люди. Аж покута помогла.
Садить сваток вербу так досвіта, щоб сусіди
ще спали, тай півголосом відмовляє молитву,
а тут надійшов другий з кілем та лозовим
прутем. Понюхав перший табаки тай повідає
кумови, що мав дивний сон за сей яр і лише
пробудив ся, зараз поклав собі дерева в нїм
садити тай садить. Але сей другий знав, що
розмовник бреше; знав і лише жалував, що не
вміє і він якусь байку за сон розповісти. Взяв
ся до роботи, але як бачив, що з нього сват
підсміхає ся, не видержав. „Менї видить ся
— казав — що і наш піп мав мати якийсь
сон за сей яр“.

— А дивїть ся тепер: цілий яр, то одно
верхівє зеленої верби.

Характерний терпливо слухав, а Крутій
розповідав.

— Друга знов улиця відвернула потїк,
що плив яром аж на конюхівські Кватири. Те-
пер воду з жерела спроваджують дубовим жо-

лубом, а потік пускають на Матвіївку і мають на неужитку ставок.

— Добре — перебив Характерний — але деж тут справа божа, де спасене душі?

— Є і божа справа. Ви бачили сі щепи, що висаджені ними дороги і повітовий шлях на кільшанецьких полях? Кожного третього року іде з них дохід на церкву. Сі, що за покуту розвели пасіку у себе, дають віск до церкви і через те ви не побачите тут одної білої свічки. А кожний грішник, роблячи покутну роботу, має час і молитви відмовляти — чи ні?

— Знаєте... розумієте... та я перед таким пастирем, як о. Дуб чолом бю, ви се знаєте. Але чогож він себе наражає маючи дрібні діти?

— Він лиш по своїм переконанням... а знайшов ся якийсь мерзений донощик...

— Але заказ заказом, а у нього бачили „Народ“.

— На се вам скажу, що митрополит не мав права забороняти духовенству лектуру. А поза тим сей заказ безхосенний: хто радикально успособлений, сей не потребує конче радикального „Народа“, а приміром ви, хоч би й читали „Народа“ і Бог знає що, то радикалом не станете. А знов о. Софрон із Вільхівців, як же він буде місію против радикалів робити, скоро не перечитає їх газет?

— Се правда. Мені лиш прикро, що на мене впало вести слідство. Знаєте — розумієте, дуже мені прикро. Як тут навіть починати з таким чоловіком, як о. Дуб і за що його переслідувати.

— Ви вибрали невідповідну пору. Повинні ви знати, що нині з'їзд у нього.

— Знаєте — розумієте, я вибрав такий день, аби двома-трема словами скрутити карк.

— Дубови? — погадав Крутій. — Не бійся, не підітне його така тупа палка, як твоя, хіба надглодже.

— Скрутити карк справі, — кінчив Характерний — і ми змовилися з Овичем.

— Таж Овича повіз учора вечір Софрон до залізниці. Ми стрітили їх; ви-ж уряджуєте місії замість вибори приготувляти. А що до Дуба, він не відступить від своєї заяви і вважає себе правим.

— Отче любий, — клопотався Характерний — запевнене такого приятеля, як ви, буде цілком віродостойне.

— Ні, так не урядуєся. Випийте се пиво, якого наварив хтось і говоріть із Дубом. Я не обжалуваний, я не отець Дуб.

А тут о. Дуб надійшов із своїми гістьми, тільки добряга Спирідіон не йшов, бо виручаючи господаря поїхав до хорого. Ще долітав голос дзвіночка.

Ще з подвіря причіпилися до Характерного.

— Бачу, що вашій яснокоистітій шпачці не дуже плявдує пошівський обрік.

— Деканський — поправив Далекий — тай пари до неї не ви дібрали.

— Найтяжше пару дібрати, чи чоловікови, чи конині — завважав Мисливий — алеж було від княгині два коні брати, що вам по однім.

— Каштанка з добрих рук, отче сусідо, від вашого тєстя. Не жалую заплачених грошій: вона і на шпачку вже вважає і вже хоч знаю, що не вивернуся в рів.

— Що за честь для нас, отче декане! — повитав господар, ідучи по заду.

— Я умовив ся з Овичем — звиняв ся Характерний.

— А, то буде і Ович? Ну, не надіялись ми.

— Чому-ж так, отче делеґате, добродію!

— Та бачите, до радикала як заїдуть совітники, та ще такі, що мають доступ до Станіславова, то хіба не честь для нього?

— Соболізаную, отче делеґате, з причини письм консисторіяльних.

— Для мене се не болізнъ, я ділаю сьвідомо і ділати буду маючи власть передану сьв. тайною.

— Я свою думку вже висловив о. Крутївви, прошу його считати.

— От, лишім се.

— Чи ви дістали „Галицкую Русь“ з голосом „Щирого Народовця“ против нової ери? Я вам післав через дяка.

— Дякую за память, але я нічого від вас не дістав, а „Гал. Русь“ передає мені о. Мишливий.

— А моя мама хоче вашій добродійці післати індичку, що дуже добре буде на яйцях сидіти.

— Урядувати буде, — каже ся делікатно.

— Та се вже скажемо добродійці в хаті. Прощу ближе за мною, тут і холод на дворі.

Пішли по сходах, один другого пускав передом.

Але незабаром появил ся о. Характерний на сих сходах сам, кликнув на фірмана, підбіг і вже його неформний фастон запряжений одним бистрим, великим конем, за котрим дру-

гий мусів підскакувати дрібним гальпом, вотив ся по доріжці, що вела до Слобідки.

Тимчасом подальші з'їздили ся скорше, а за ними і ближші надтягали до о. Дуба.

Сонце стояло на полудни, як ішов до Кільшанців Іван Козак. Ішов із Кичаком і Петром Веренькою. Стасюк іще раз переказав йому просьбу Дуба, але сам іти не хотів, лиш передав лист від себе. За той час, як Іван відтягнув ся від справ громадських, відтягнув ся враз із однолітцями, що перейшли школу московільських народолюбців, виступили молодші, що читали „Батьківщину“, а відтак радикальні газети, та казали, що не підуть на сліпо під ряд попівський та сурдутових. До них належав Стасюк, а Іван кілька разів розмовляв із ними і хоч не змінив ся, то почував після сих бесід животворне тепло у своїм серці.

Дуб прочитав вручений лист і заховав супокій. Оногди був у нього Стасюк із Шмігельським і хоч заявив своє становище, не сказав, що нині не явить ся. Йогож присутність могла бути потрібна, хоч оба запевнили, що з їх гурту — а в їх у повіті немало — всі віддадуть голос на попівського кандидата — через недостачу власного. Всі вони еднають ся, відбувають збори, використовують передвиборчу свободу для організації і можна на них числити, хоч не будуть брати участі в попівських нарадах.

Не вспів о. Дуб переконати, що Русинам не треба партій. Шмігельський вказав на те, що народовська партія містить у собі цілий збір відтінків партійних як найбільше суперечних і з того йде неясність, а далі неможливість сповнення сих неясних програм. Коли Русинам треба одної партії, то справді лиш такої, щоб

економічне піддвигнене простонародя, можливість користуватись йому здобутками культури поклала на перше місце; всі, що на се не пишуться, най собі відпадають і творять осібну партію, одну, чи дві. Теперішня найбільша партія кладе собі за ціль справу формального націоналізму, а за тим хлоп не піде. Її основу треба змінити, націоналізм лежить уже в нас самих. Користь із того, що Русини ділять ся на партії після того, як котрий пише слово „риба“ „рак“ чи „дурак“ в така, що мужики мають підставляти плечі за кандидатуру такого отця, Ми, що сидів собі мирно парохом 22 роки і не думав про товарину-хлопа, поки не забаг зробити карієру.

О. Дуб немало вражений різким тоном і критикою, признав про те прочитане нових людей і радів заповіді сьвітліїшої будучности. Розумів, що людська думка і стремління людського духа не спиняють ся, тому прийшов час на радикальну партію, а прийде час на дальший поступ. Але на те приходять покоління за поколінням, а потреба лучности існуючого з ідучим, ідучого з минувшим. Привичка, чи традиція, кастові згляди і окружене не позволяють йому робити скоків. Потреба хвилі вимагає уступок обох сторін. Зносини з новими людьми бажав хиба скріпити і розстав ся з ними як їх добрий і мудрий, а не як старший брат.

А всеж тим більше мусів старати ся приєднувати старших селян, чи взагалі всіх, котрі не зробили явної сецесії. Тому крім иньших просив Івана Козака.

Наближаючі ся вибори були через те ще особливі, що соймовий посол руський з того по-

віта, хочачи бути більшим політиком від Романчука, переборщив у своїх угодних заявах соймових, аж мусли його виборці соромити ся, а о. Дуб вишукав иньшого кандидата, отця Ми. Навіть мав надію переперти його вибір. Раз, що сей повіт бував переважно в руських руках і сей раз мабуть так лишити ся. А відтак, був тут новий староста, хитрий та гладкий чоловік, оженений з графянкою, що не хотів вислугувати ся зарозумілій, надутій шляхті. В спілці з о. Дубом повалив він Яблонського, прогнав фамілію з ради повітової, а більшість ради заняли Русини під проводом Крутія. На такі комбінації числив тепер Дуб і через те говорили радикали, що жмінка інтелігенції торгує ся за хлопську шкіру, ділаючи ніби для народа без народа. — Ба, ся жмінка не йшла одним ладом. Крутія заявив, що піддасть ся більшости злученого, великого збору передвиборчого, але до того часу застерігав собі свобідну агітацію в користь евентуального новоерського кандидата. Знов о. Теодор Ович, Характерний, Софрон та кілька иньших, що мали бути клерикалами, за слабі були до позитивної праці, але сильні до критики тай до роздроблюваня сил. В кінці й мужики, явившись на збір, хоч і не радикали, ударили також у клепало, а не в сконсолідоватий дзвін.

— Я просив ся до слова — промовив Наконечний з Котівки, — бо нам роблять еривду, як кажуть, що на Поділю — хліб на кілю. Видко, що так колись було, коли так сказали старі люди, але щож, скоро потім вийшло таке конституційне право, що пани відбили нам ліси і пасовиска, а Жиди поздіймали з кіля хліб тай лишили хлопови саме кіле.

А кіля навіть хлопський жолудок не винесе. Тай що тепер робити тому хлопови? Хиба тую земельку съв'язу, сю нивку, що перейшла його кривавим потом, покинути тай питати, де буде йому вільно споживати тоє, що своїми руками заробляє. Бо тут уже нам не вільно. Не маєш нічого, то з тебе нічого не візьмуть, хиба що підеш до криміналу, а як же маєш шнур поля, чи півшнурок, чи клаптик города — ого! Вже мусиш ділити ся відумерщиною, тай ніж дадуть поділити ся, перше плати. А поділиш ся, то далі плати і штемплі і мапу і аркушик і табеляцію і форлядунки і Бог святий вість що. А вже як ти буцім якийсь господар по табеляції, як знов незачнуть із тебе дерти: ба на школу, ба на церков тай на дзвінницю тай, вибачайте, на резиденцію. Гей, а престація і шарварки, гей, а сплата за оклоти та тарці професорови тай такса військова. А тепер податки, а банки, а рати: приходить один здикутник у цісарській шапці, а другий з пейсами в ярмурці. Таж сього би на тій цілій стіні не списав. Як ловиш рибу, як мочиш коноплі, то приходить цидулка платити штроф, а не платиш, іди сидіти. Я прошу отців духовних вставити ся за нами, щоби бідному вольно було за такси тай за податки відсидіти в арешті. Ми собі за се бесїдували в неділю вечер тай кажуть мої люди: аби ви там, Григорій, просили попів, коли вас покликають на раду. Ніби тепер той час, що всьо право диктують послы, але чому, прошу покорно отців духовних, не возьмуть хлопа між послы, щоби виказав нашу біду, тай упімнув ся за хлопське право. Перше було плати адвоката, тай він усьо зробить

у суді, а тепер переплачуї і двох адвокатів, то суд не зробить хлопovi права.

— І вже димарі не бють лейбиків по селах і полотна такого не виробляють, бо на ткачів кладуть податок, а крамське всьо танче. І димки вже не видиш на жінці, лиш аби гроші, то убереш ся в місті від голови до ніг. Тільки звідки возьмеш сих грошей, де їх заробиш, коли машина за тебе робить, а як окомонови сказали, що дві шістки на день за мала плата, то він каже: Сорока з гнізда, а на її місце десять. Зараз прийшли другі тай тогди ще проси ся, бо хоче до суду завдати, що, як ти, каже, взяв 15 ринських наперед, то мавш 60 днів у році відробити на поклик, а не відробиш, то всі гроші обертай і щось уже відробив, то тобі пропало.

— Так уже збиткують ся, що край. Але прийшла чутка, що принц Рудольф у Бразилії закладає царство тай покликає Русинів, бо нема, каже, на світі такого другого, як той руський нарід. До роботи, каже, добрий і невибагливий і до жовнярів добрий і бунтів не робить, хоч-би ти йому кілки на голові тесав. Збирають же ся люди в дорогу, тай до старости, а староста їх до арешту, а возьні всіх машкарити з болотом. А далі находять жандарі в село тай вартою обкладають, аби хлоп не втік від неволі.

— Ми просимо дуже нашого посла, най тому якийсь кінець у Відни зробить, най робить кінець нашій біді і нашій кривді, бо не знаємо, чи ми у нашого монарха піддані, чи ми у старостів та жандармів гірше наймитів жидівських і ще за тую ласку податки платимо, чи ми таки вибачайте безроги, як нас попрі-

кають. З тою просьбою кланяє ся до пана посла руський бідний нарід“.

Але пана посла, чи пак кандидата не було, а як би й був... Присутним зробило ся моторошно, бо перед хвилию управляли високу політику і дипломатію, а за мужиків забули. Тих і не багато було. Хиба з таких сіл, де панотець був хрунь і його обминали, або з таких, де панотець не міг виборами заняти ся і сам вислав мужиків.

Такий був вислід об'їздки та переговорів о. Дуба, Мисливого і Крутія, виборчих комісарів назначених через соборчик.

О. Дуб гриз ся тим, але дарма. Мусів приймати, що є.

Головний передвиборчий з'їзд обох повітів назначено до міста на другий тиждень; там мала рішити ся справа кандидата, бо вибори вже за три неділі. Після сих зборів явить ся кандидат у кождім судовім окрузі.

Обчислено, кілька голосів треба мати, почислено, кілька є певних. Декого візвано поіменно. Івана також взивали поіменно, пригадували йому давні вибори, давно забуту читальню, казали, що його заслуги великі. Вказували, що головна боротьба против Яблонського буде в його селі і в латинській парафії кільшанецькій, може і цілий вибір на Іванови лежить. Взивали, щоби подбав за правибори, щоби виборців привів на другий з'їзд до міста, заклинали, щоби не дав схрунути ся правиборцям.

Івана трохи здивувало, звідки набрало ся їм памятати за нього одного, бідного хлопа; почув у душі, що може не все було правдиво, що було сказане, але жар і запал до святаї справи, який тут був слідний у деяких пан-

отців, у господаря дому, збудив у його душі висні бажання і рішучість до безграничного самопожертвування. Всі зачуті слова взяв собі до серця і в серці вони змінилися в енергію до діла, а за селом він мусить стояти, бо стоїть за правду і против пана піде, бо пан кривдник села.

В селі костел не завів іще основних змін. Правда, знайшлися й такі, що йшли туди, хоч були руської віри, а не те, щоб латинники не мали ходити. Таже ксьондз грозив пошестею і покути не давав за те, як латинник вступив ногою до церкви. Були такі, що силувалися з ним по польськи говорити, а Многодітний був перший із тих. Його братя ходили в Бірках до церкви і батько був Русин, але що Семенко був дворає, тож кинувся до костела та польської мови так горячо, що за його польську бесіду прозвано його Многодітний. Але назва не була йому в обиду. Такі самі завзяті були й жінки. Кілько було їх латинського обряду, зривалися справляти латинські свята, хоч за чоловіком має іти газдня. Якось там роздобули грейцарів, бо на се баба все має спосіб, накупили сього й того, а газді що шкодить ліпше з'їсти ніж у будень? Ба, але приходять руські свята, а баба не хоче пекти ні варити і клене ся, що піде до міста на торг у сам перший день свят. Не помогло ніщо, аж стусани, а дуже впертим пранник... Мудрійші Русини й самі держалися свого, не чекаючи потайних докорів та наставляюваня панотця, що сидів тихо і мовчки дожидав презенту. — Латинників старалися впрочім відрізнити як пан так офіціалісти і ксьондз і війт. Коли однак прийшло до правиборів, показалося, що хлоп

на своїх класових інтересах стоїть іще дуже непохитно, бо лиш треба було йому сказати, хто в сі сьвіжі його приятелі. Се було йому сказане. Стасюк явив ся в своїм ріднім селі і держав таку гарну промову політичну, як колись укладав пісні для старостів на весілі. Більшість була против пана, а таких, що хитали ся, було мало.

Правибори в Конюхові були аж в остатнім речинці і до того часу якісь сумнівн та непривітні тихі голоси в душі Івана нашептували йому зневіру. Випрошував ся у своїх.

— Чи нема — казав — иньших? Будь хто поїде та віддасть голос, а мене старого лишть уже на боці.

— Будь який би їхав, але все, як той казав, ви вже в тім були тай ліпше знаєте, як пильнувати других, щоби не пішли на ліво.

— Молодшим — казали другі на довірочних зборах — мусить старший дорогу показати, самих молодих не можемо там післати. Просимо вас, щоби ви сей раз не скидали ся, най підуть молоді в огонь із вами, то потому підуть і самі вже. Та ми мусіли таких незнатних вибирати, щоби їх у місті не знали за бунтівників, а ви покажіть їм дорогу.

— Най знає пан і лйтнант — казали иньші -- що ви для нас ліпші ніж вони і за то ми вас кладемо на свого першого і головного виборця.

А пан і лйтнант старали ся тимчасом відклонити Івана, але бажали, щоб він продав совість, щоб зрадив громаду, хоч прийняв від неї мандат.

Громада повинна-б давати чотирох виборців, але признавали їй лише трьох, отже Іван

мав під собою двох. Він їх навчав, як мають себе вести в місті і як мовчати на всі жидівські зачіпки, щоби так не попастись у холодну замісь у виборчу салю. Поучив їх, як то відбуває ся вибір і перед ким голос віддати, що карту виборчу мають заховати за пазуху і не віддати нікому, лише комісії, а показати можуть лише легітимацію. На пару день перед виборами пішов із ними до о. Дуба тай усі три зложили присягу від усякого трунку, навіть від гербати і від содової води, а то на тиждень. Тепер уже був певний, що ніхто з них не впаде під лаву в шинку тоді, як треба йти сповняти свій горожанський обовязок.

Громаді, собі і руському народови не зробили Конюхівці сорома.

Але Іван стягнув на себе знов гнів і кару.

Звивають його до староства, кличе його інспектор податковий, а там уже війти сидять і межі ними Многодітний, а в другій канцелярії видко п. Яблонського та виборчого махера Вайгінтера. Зараз Іванови зробило ся маркотно, коли їх побачив, але не лучив свого візваня з виборами. Синці у нього вже загоїли ся, ріжні зневаги і прозвища забули ся, вже від виборів минуло кілька місяців — так Іван і не гадав, що аж тепер приходить пімста.

— Ви Іван Козак із Конюхова?

— Так.

— А що, ви в рільник і коваль?

— Такий рільник, що поля не оре, бо не має, а такий коваль, що в кузні не робить.

— То заперта кузня? може від виборів іще? Ви мабуть дуже звивали ся, як прийшли вибори.

Тепер Іван міг уже здогадатися.

— Та не заперта — казав — от для сусідів, щоби не тягнув ся до Болотища, то треба послухати.

— А ви добрий майстер?

— Та най люди скажуть, на себе але не скажу, а хвалити ся не буду.

— Добрий майстер із нього — приказує війт.

— Який я майстер? Не майстер, лиш роблю, що вмю — звиняє ся Іван.

— Але візок окували бн? — питає інспектор. — Я маю гарну бричку, та тутешній коваль багато править. Чи ви потрафите?

— Не постыдаю ся, як якийсь казав — відповів Іван, здивований такою розмовою.

— І треба би перекувати молоду клячку. Тутешний підкував, але вгнав далеко цвях тай кінь хромає. Чи ви потрафите се зробити? Я тут зараз так сиджу.

— Перше подивлю ся, яке копито в веї: чи твердий ріг, бо може треба, щоби ходила пару день без підкови, як сильно застругав.

— А ви в селі куєте конї?

— І я нераз посилав свої до нього, але ще за добрих часів, бо тепер із Івана політик — вмшав ся пан до розмови.

— Та і без панських коний є коло чого робити, коби лиш час та здоровле.

— То багато маєте роботи?

— Багато — каже війт.

— А кілька заробляєте на місяць, чи на рік, як міркуєте?

— Не можу того потрафити, як треба правду сказати. Я зарібків не рахую, от є на се то на те; і на роботу не чекаю, але як що

капне, то здасть ся. То фіру собі відроблю, те оране; слухають мене, слухаю їх. Як би жив із того, то годен би знати, а так не знаю.

— Як ви, пане вуйце, шацуете?

— Я шацую 150 зл. річно, а 50 кр. на день.

— То ви мене ліцитуєте? — обернув ся Іван до війта. Але інспектор підскочив.

— Ви в цісарській канцелярії, а то є свідок і війт, ви так не сьмієте говорити.

— Я чую, що мене пан годять до роботи.

— Тепер мовчіть, ви маєте говорити, про що вас питаю. Ви вмiєте бричеу окувати, куєте коні, самі казали ви, отже не потребуєте вже говорити, кiлько заробляєте.

— Пане вуйце, велика його кузня?

— Як пів сеї канцелярії.

— Міх великий?

— Великий, новий.

— А ковало?

— Є два ковала.

— А молотків буде пять?

— Молотків вісім, а девятий великий.

— Кліщів?

— Тров.

— Пильників?

— Чотири.

— Точило є?

— Є й точило.

— А бормашина і шрубстак?

— Також є.

— Ну, то доста, тепер комісія вимірить податок, дістанете арешник. За те, що до тепер ви ремісникували без карти, дістанете

кару, а другу кару за коване коний без іспиту.

— А щож я тому винен? Хто за який іспит знає?

— Треба було подати ся на карту, а тепер ідіть із Богом і слухайте попів.

Івана як би хто опарив, а ще лукава усмішка інспектора, пана, а найбільше лейтнанта шпигнула його під саме серце.

На коридорі побачив своїх таки, конюхівсьєих ткачів, а далі попід вікнами стояли мужики і кілька їх лиць бачив уже Іван на зборах.

— Самі ремісники? — спитав Іван півголосом.

— Таже буцім то ремісники — відповіли.

— То за вибори накладають податки, — зітхнув Іван і сим словом лопнув усіх по голові. Ніхто не обізвав ся, бо в горлі стискало. Сей коридор змінив ся нагло в кримінал, у гріб.

Але балакучі не змовчали.

— Новий податок — промовив Іван Гавриленко, швець із Вільхівців — але я з інспектором подрочу ся, скажу що я не плачу податку від сонця та від повітря.

— А ти не бачив — каже Пилип Ганчук із Вільхівців — як то худа шкапа тягне навантажений віз; трохи жили на ній не тріскають. А кинь іще ділетку тай або посторонки тріснуть, або шкапа впаде.

— Гов Пилипе, гов шкапо! — схопив його за плечі Гавриленко.

— З мене — обізвав ся слобідчанський столяр — не візьмуть нічого, бо я голий.

Відчинили ся двері від канцелярії і розмові кінець.

Покликали Осипа Шеляра. А Іван не міг дивити ся на стілько кривди тай пішов.

* * *

Другого дня в сю пору був знов у місті, але не прибіг уже пішки, бо хорого сінка не годен був нести на плечех. Пішов до Микити Макодонського, обіцяв ся послухати його колись і Микита набрав мерви в драбини, запряг коняку до вознка тай під'їхав під Іванову хату.

— Завтра — казав — уже не було бн чим поїхати, бо поведу свою шкапу до Болотища на торг. А не куплять Жиди на шкіру, то завезу в Запуст, довбнею по голові, та най вовки їдять, бо я не вигодоую її.

Іван не обзивав ся, лиш пішов брати хлопця на руки.

— Ви вчора, бачу, з ягнятем так зробили; з'їсть його Абрум, але Абрум від зятя Вольфа недалеко втік. Як то Жид каже: курочко, знеси Мошкови яйце, а Іванови...

Микита був „мудрагель“, усе балакав і все підсьміхав ся. І тепер драгував Івана дальшими приповідками за качку, за гуску, то за овечку. Іван не слухав його, лише дивив ся на сина гей на образочок.

— Чи буде що з тебе, Дмитруню, чи підеш до мами на могилу? Покинеш старого тата самого в пустій хатині? Дмитруню, чи я тебе витяв хоч раз, відколи ти зіпняв ся на ноже-

нята тай став по хаті жебоніти? Таж я тобі сам сорочину в зимі латав, мій легіню, а тепер ти нагнівав ся на татуня тай тікаєш?

А той легінь лежав білий - біленький на соломі та примикав очи, а візок підкидав його голову як фили бервено у вирі.

— Ви мнягкі, Іване, дуже ви мнягкі на натуру — говорив Микита з привычки. — Такі слабі в скрізь по селу, але хто з ними возив би ся по докторах.

Але і він замовк.

Як їхали попри вільшину, де зазуля кувала, тато вломив синові кілька гілок із кучерявими листками тай всунув коло драбини у мерву, а як їхали коло хреста, Іван гірко заплакав.

Як їхали з горба, то старий Іван схопив рукою за дишель, ішов коло коня і стримував візок, що колеса ледве обертали ся, а як доїздили до міста на греблю, Микита понурив голову, а Іван ішов з заду жовтий як віск.

До лікаря пішли оба. Микита хотів чути, що скаже доктор, та взяти до спілки медицини вже й для своїх.

— То в селі більше таких слабих, пане доктор — каже Микита. — Горить тай горить і кашляє, або ні, то й без того сохне тай сохне, тай згасне. І в мене в хаті двох таких є; хлопчик іще трохи дужший, а дівчанка геть уже подала ся, та ледви чи виїде.

Лікар оглянув хлопця, добре оглянув, тай став Івана питати:

— Є у вас корова?

— Дасть Біг, пане.

— І ягнички нема, ні курий, ні ячка?

— Нема пане, вжем випродав ся до чиста.

— А хліба стає вам?

— Не в ті голодні роки, пане. Коби бульби стало; хлопцєви Жид дає булку, часом гербати даєть горня.

— Пане дохтор, — вмiшав ся Микита — не хотять Жиди давати мужикови на борг муки анї зерна. Дають булки, цукор, гербату, тай усьо пише на карточці... до жнив. А голодний народ збирає ся в Росію.

— Знаєте, чоловіче, що вашому синові?

— Не знаю, пане дохтор.

— Він вмирає з голоду.

— Та він коби лиш їв, але їсти не годен.

— Він їв би, але молоко, яйці, вино та білий хліб.

Іван зітхнув важко.

— Може яка медицина поможе, пишiть до аптики. Ратуйте, пане дохтор, тільки мої надії — що маю, то дам.

Лікар узяв його за руку.

— Не треба мені ваших гроший — казав. — Маєте тут оба по два гульдєни від мене, рецепти вам не треба, купіть для слабого вина флящину, та чим легким годуйте слабих, та най вас Бог має в опіці...

Такі рецепти писав він бiдолахам, як лиш зачинав лікарську практику. Потім жите взяло своє. „Де тії маєтки, що треба би роздати між голодних мужиків на передновку!“ Міркував лікар і нині, задумуючи вибрати ся

на села, піти по хатах та написати до властий, упімнути ся за хорих, за їх злидні.

Іван ледви волочив ноги, як вносив хлопця в хату.

А девятого ранку виносили його з хати, але вже... в домовині.





V.

Вже днів чотири або п'ять стягали люди роботу до Івана й лишали її перед кузнею, бо він не забрався до праці. І дива не було, бо знали Іванову вдачу, що як уже збереся возів, плугів, борін та ще якого ломача стілько, що ні приступити до кузнї, аж тоді береся Іван до роботи, а до одного кавалка „не буде збавляти вугля“.

Але тепер горячий час: ідуть жнива, то заскочить усе разом: і візня і збирати і стерню приорювати; ладь же відразу і вози і плуги; кому пізному ще косу точити та серпа поострити — дуже пильна робота, а Івана і в хатї нема.

Було сполудня.

Дожидаючи його нетерпеливі були зразу. Жаль робучої днинки всякому, хто з праці своєї, не з кривди чужої живе. Але от мали

на кого вину зложити тай уже їм лекше було поседіти, день марнувати. Івана дожидаючн:

Слово по слові кидав один по другім: Мвннта підсьміхав ся із Василя за те, що жінка його побиває, Василь мстив ся на Гринькови тай сьміяв ся з нього, як той заблаг нового насія і мусів відтак переорати рілю на яре жито — а в кінці зійшли на свою злобу дня.

— Боле і сей рік показує на голод. Одна пшениця, що мудра, але жита не зробиш 4 снопи на день, як дає 14-ий сніп на лану.

— Таже казали, що в Бірках дасть 13-ий.

— Ба, не дає. Яблонський кликав за 13-ий, бо Гуцули його покинули і в нього жито пліхше, ніж на сусідніх ланах.

— Але за голод можна говорити аж на Чесного Хреста, як до бараболі візьмемо ся, не тепер — казав Стефан — бо кому то коли вистає білого хліба.

— На Буковині — додав бувалий Яким — то лиш кукурудза та кукурудза, зерна не видко, там так ідять кулешу, як Подоляки бараболю.

— Та Стефан кабани годув, а стіжки ще терічні стоять, то йому вже лиш бараболі бракує.

— Ті, що йдуть до Росії, не питають Стефана, яка буде бараболя, бо їм до Чесного Хреста далеко ще чекати.

— Тогід до Бразилії, а тепер іде чутва за Росію.

— Та бо кажуть, що Москаль прогнав Швабів тай їх землю віддає нашим.

— Другі знов кажуть, що міняє з нашим Жидів за хлопів.

— А треті розумні придуть тай вірять у небилиці. Що хто скаже, а ти бери та вір.

— Слухайте, та ви не вірите тай я не віру, а другий і вірить і робить так.

— Стефан боїть ся, аби бідний хоч під Москалем не прийшов до ґрунту.

— Кого пече, той посуває ся, а Стефана не свербить, тай він не чіхав ся.

— Але поки підете в Росію, Микито, то виносїть мою нивку, бо ділетка жита щось варта.

— Богацьке не пропаде.

— Або богач краде?

— Ей, де краде — казав Гринько — я тамтого року видів, як Дмитруньо Безбородько бідить. Стоїмо раз на місті в пущане тай кожний виймає до хліба хоч кавалок сала, хоч грудку сира, а наш перший богач купив дві парові булки по грейцару тай що вкусить два рази чорного хліба, то на омасту вкусить раз булки, а так їсть, лиш ухами трясе.

— От іде наш майстер — сказав Стефан, щоб відібрати бідним того троха сьміху над богачами.

Іван, показав ся справді. Поволи підходив із викопа на свій город, поволи зближав ся до гурту. Ще трохи онимав ся, а далі скинув шапку, поздоровив їх. Опухлі повіки прислонили очи під насупленими бровами, не глянув на нікого, лиш промовив:

— Вибачайте, мої сусїди і господарі, але вже я вам сеї роботи не зладжу.

А що дивили ся на нього дивом, казав дальше:

— Мені в голові ліпше кує, ніж я молотом.

— Чи то лиш вам?

— Кождому біда, лиш не одна.

Якось він дав їм приспати свою журулихо то гутіркою, то наріканєм, тай зглянув ся на сусідів, що була би їм кривда, як би їх не „послухав“.

Скоро побачили, що сїв на поріг тай набиває люльку, зараз узяли на пальовиску вугля жарити. Знали, що мусять укинути в люльку вуглик, а від сїрника не закурив би. Пикаючи люльку оглядав пильно роботу, міркував, а в оці мав певну міру. Так собі розміркує і за-тямить, що потому лиш приложить, мов приклеїть, гей утне.

Як Іван скинув лейбик, зараз крикнули до Стефана:

— Чомуж не дуете? Упхали ви ся зі своїм колесом на сам перед, то ще хочете, аби другі за вас димали.

— А я не дую, мой?

— Чи ви тут перший раз? Знаєте, що жар має прискати під стелю, бо инакше Іван не візьмуть молотка в руку.

— Не жалуйте вугля, хоч ви скупі — вмішав ся Іван. — Вугле мое, не шкодуйте.

Як міх сопів тяжко, тоді почала здригати ся майстерська жила в його руці; як поломінь росла, дьоргаючи, як синій облячок пролизував ся в білім-жовтявім стовпчику, а багрова лява, переливаючись водограєм, пересувала огняву тїнь по стїнах і гарячом наповняла кузню, тоді Івана обхопив жар.

— Повідайте газди, повідайте, що знаєте, най нам не буде скучно. І я побалакав би собі, але дві роботі нараз не змію робити.

Він справді все мовчав при роботі, хоч би й цілий день робив.

— Не таке цікаве, що розповідаємо собі. Кажемо, що народ тікає від нужди тай за Збруч.

— Від кривди, від кривди тікає народ — поправив Іван.

— Та певне, що кривда, як у губу нема що вложити.

— Гірко, дуже гірко, як ти голоден, але сто раз гірше, як бачиш, що по твоїй правді ногами топчуть. Ой утік би я від кривди на край світа, тай ще від такої кривди.

— То ви так припускаєте до серця туск? Так журбу до себе берете? То ще хто знає, як буде на кінці.

— Таже можете на рекурс подати ся — потішали другі.

— Таж можу, але по нашій правді ногами ходять. Може рекурс вару вменьшити, але правди не підійме.

Взяв ся до роботи.

Йому бувало горить робота в руках. Тут жарить зелізо, кує і гартує, тут уже прибив, і другому робить. Кує, пріє, мокре лице саджею припадає. Щоб лиш полум'я на пальовиску жевріло та бухало, щоб міх не переставав і на хвилю сопіти, щоб у коритці зимна вода була, а перед порогом кузні щоб черги дожидали, щоб він не накликавав тай не пригадував.

Скочив і кинув ся до роботи так, як би щось за десятою межею бачив тай міркував щось важного.

Помітили, що з ним наче щось робило ся, бо як не гляне на когось дивними очима, то задивить ся в кут тай забуде роботу. Не любив бувало ніколи при роботі обзвчатись, а тепер пару раз затинав ся бесїдувати.

Встромив зелїзо в грань, уже воно червоне, а він питає:

— Щó жарить зелїзо?

— Огонь.

— Де там огонь, — каже — дух із міха, не огонь.

— Най буде дух із міха — каже Стефан міхом дуючи.

— А ви гадали, що то бучок пса бє? — Виймив зелїзо, кладе на ковало тай кує. — Не бучок, ні — приповідає, тай кує.

— Та вже потягнула би там моя рука його бучком, як би прийшов на мою вулицю... — підхопив Микита.

— Тай ноги підломив би — додає Максим.

— А він раз прийшов до кузнї тай чисто порахував мої молотки, пильники, всьо начине, тай вичитав перед інспектором. А голову я розбив би тобі тим дев'ятим молотком на прах.

Натягнув обруч, прибив цвяхи — тай готов. Така тяжка робота, а він зробив і не оглянув ся. Хоче Стефан платити, а Іван не каже.

— Та якже буде?

— Я нині роблю за те, що вам приповідаю, щоби ви мене споминали, не за гроші.

— А я ще маю леміш — скрутив ся Стефан — я так чекав на вас.

— Ні, небоже, раз у рік празник, будьте ситі одним тай будьте здорові... Ано, подавай! — крикнув із повної груди. — Знаєш, що базікати не люблю. Подавай, бо стою дурно!...

Треба було сталити сокиру; залізо так розпекло ся, що між вуглем не пізнавш його.

— Ану, виймай, Гавриле

Гаврило за кліщі, але Іван не дав.

— А видиш — каже — добре чужими руками огонь загортати. Ти, мужиче, все там наставиш ся, де бють.

— Не наставиш ся, тебе підставлять — поправив Микита.

— А я не дурний — воренув грубо Максим — я їм так сказав тай відсунув ся.

— Не кажете справедливо, — боронив дяк — бо їм також дістає ся.

— Може і твому?

— Е, мому? бодай він із водою поплив.

— А ти гроші сховай та віддай йому. Кажі: ви тепер бідні, бо в голодні роки мало з людей маєте.

— А хто має на точило, то один другому точить, я з тим не буду заходити ся нині.

Робив мовчки, віддавав роботу готову, плати не брав.

— А не тікайте так один за другим — сказав по хвили — може я варта, щоби ви в мене посиділи.

— То вам 120 ринських порахували? Та не могло в них 120 чортів всадити ся?

— То вже податок і кара за те, що коні куєте і за те, що на польського шляхтича голосу не даєте?

— Вже не питайте, бо гірко.

— А кому-ж солодко, куме Іване? Та чи ми вороги, чи не сусіди?

— Вже я більше робити не буду; най вам староста леміш латає, а інспектор коні кує. Я цілий 120 ринських не варта тай не знаю по правді, за який час мені прийшло би від вас коли 120 ринських.

— А як прийшло, то жити треба вам тай дітям.

— Уже мені за діти не повідайте. Не хотіли вони мого хліба.

— Не знаю, — казав Яким, що в осені прийшов із війська, а в мясниці оженив ся, — я такого краю, як наша Галіція не бачив. Тут не люблять заможних людей, лиш хотять жебраків мати. А хто має руки і спосіб, щоби заробити, зараз його обдирають тай торбу вішають на нього.

— Слухайте, газди, таж голодні роки вигнали мою коровицю зо стайні і овечку, за-кутник взяв кланю, а голод узяв мого Дмитруня — крикнув Іван.

— А кілька народа вигнали за море.

— А кілька його пре ся за Збруч?

— А кілька ще піде?

— А вони присилають аркушик, аби я на рік 7 ринських податку від кузнї платив!

— Не платіть, Іване, ми розберемо цілу кузню тай повеземо її під цісарську канцелярію під вікна в старостві, най їм на пенсію мастки нарастають.

— Тай побачите, що я з аркушиком зроблю. Мені від них аркушика треба!

Працював дуже пильно, бо хотів їх усіх позбутися звідси, кинути молотом до землі,

щоб зарив ся в ній на пів ліктя, тай не дивити ся в той бік, де стоїть кузня.

— Клепав я повстанцям коси, а не можу викувати такого меча, щоб ним усіх ворогів згладити. Десь мій батько був перший стрілець на весь повіт, ще його цівка перекидала ся в мене. Та не було возьми на око та не вистріляй усіх що до одного, всіх до ноги... А то гризуть нас тепер гірше собак.

— Гей, такого слова не кажіть! — остерігали, — бо най лихий зачує, тай пропаденіє тобі, чоловіче.

— Вибачайте мені, всі ви дураки до одного, коли таке говорите. Тому на вас сидять тай поганяють вас.

Уже була готова вся робота, а Іван їх запрошував :

— Почекайте, та най ще при вас попроцаю ся зо своїм варстатом.

Узяв кавалок заліза тай поробив із нього цвяхи здорові, гострі, відтак зробив добірний скобель і ретязь загнутий у кант, так, щоби заходив добре з дверей на футрину.

— Почекайте ще мінуту, вже вас не буду тримати, але коли на вас упало, що маєте свідчити, то будьте вибачні.

Пішов у хороми тай виніє коробеу, що стояла на одвірку.

— Дивіть ся, — казав — се мій Дмитрик стругав — і висипав на землю кілька великих та малих ляльок. — Мав такий хист до того, щоби довбати та стругати. Кого бачив, то стругав. Є тут Ворон, є лейтнант... чекайте, отся лялька, на неї казав Дмитрик, що то лейтнант. За решту, то вам сам повім, хто де є. Сей

грубий, то Яблонський, се староста, се інспектор, се Ворон.

— А дмухніть там із міха, Микито. Ви щирий чоловік, духу не жалуете. Вугле ще в.

Вже полумя велике, вже стіни червоні від зарева, а він усе каже: дуйте, та дуйте, най міх трісне, аби жар був. Я хотів би тим жаром із глини зробити чоловіка, наляти вам у жили огню, а в кров пімсти.

Скоро вже виприскував огонь під саму стелю, встромив Іван зелізо тай жарить, а відтак поставив на ковало.

Ех, як стукнув, як дало з себе голос: усі гадали, що то птах співає, або срібний дзвін дзвонить.

— А беріть но молот, Максиме, ви щирий чоловік і відважний, гатіть но враз зо мною, то лекше буде.

— Лишіть, Максиме, лишіть — крикнув по хвили — бо душа болить, як нема рахуби. Я в дзвін, ви в клепало. Де два Русини зроблять що в згоді!

Сам кував і викував спису триюгну, два вістря малі, а третє, середне — довге.

— Тепер дивіть ся, — казав. — Інспектор буде висіти за голову, а ви жаріть, Микито, дуйте!

Розпік спису і випалив ляльці діру в шиї... — Ти, пане маршалок, повиснеш за ноги, а ти за лівий бік. Колись козаків вішали так пани та ксьондзи, а козаки знов їх вішали, коли зловили. І я козак.

Огонь бухав, а стіни були кровю залиті, наче кровю мучених жертв. Розпечена криця гартувалась у воді, а їм здавало ся, що Жид сикнув із болю. Іван кидав ся і дико спогля-

дав на всіх, в кузни було душно, лячно і тихо, носилась вонюча спаленизна.

— А тепер на двір!

Одну ляльку за другою прибывав Іван до одвірка над кузнею і як був готов із роботою, відсапнув.

Пішов знов до кузнї, досягнув із полиці аркушик, забрав ретязь і скобель. Перед порогом перехрестив ся тай поклонив ся.

— Бувай ми здорова, вітцівська кузне, моя приятелько! В бідї ти мене ратувала як сестра брата. Тепер нас розлучають, а ти вибачай менї. Не годен за тебе дати 7 ринських і дві шістки кожного року, а 120 ринських тепер, нараз. Був я через тебе газда, а тепер через тебе жебрак.

Поцілував поріг, запер двері тай приправив ретязь і прибыв його двома скоблями щільно, аж оба перелїзли через футрину в одвірок.

Тепер знайшов кілька трісок під цвяхи, розтягнув на дверех аркушик тай прибыв його.

— Най воробці тебе читають, а податок най платить чортова мама!

Шпурнув крізь віконце молоток до кузнї, аж напротив стїна задрожала, обернув ся плечима до всіх тай мовчки пішов геть із обійстя.





VI.

Іван „подав ся на рекурс“ тай тягнув свої тачки.

Ходив на гостинець каміне товкти. Пообви-
вав ноги ганчірками, заложив на довгу ручку
обушок тай товк тай сивим пилом припадав.

Перше ходив на лан, але там гірше. Я-
блонський не дочекає, щоб він на нього та ро-
бив.... ходив до Жида, до Бірок. Трохи лучше
платять на ланах підчас жнив, але де йому
там достояти? Тамошні дивлять ся на чужих
вовком, кажуть, що їм зарібки відбирають та
плату знизили. А як почали займати збіжжя, то
один під другого підлазив, аж руки собі сер-
пами калічили. Збігли ся та в шість день уже
й по роботі. А потому вже і по платі. Що, чи
тут може фабрика відбере робітника, чи де зе-
лізницю пускають, чи який млин паровий? Знає
пан, що всі до нього прийдуть. Не треба ата-
мана, бо голод виганяє на лан робити за будь
яку плату.

Камінь товче Іван на метри і се для нього добре, бо стільки платять, кілько заробить, а як котрого дня не годен вийти, то камінь почекає. А часом не годен, бо нема від чого. Чи дбає хто за теплу страву для нього, чи до хліба дасть щог, чи є до кого промовити?

Вже Іванове обійсте пусткою облітає — видить ся зараз, що тут ніхто не мислить, не вештає ся ніхто живий, що душі нема при оселі і рук трудящих. Неліплена від року хата полупала ся, один бік віддула, неполатаною стріхою вітер трясє. Хотів був Іван за добрих часів то нову ставити, то хоч поправляти стару... та тепер!... На цілім подвірю кинулась хопта, стежка до кузнї заросла. Хоч Іван лишить ся дома на день, чи на два, то і його душа вудись блукає, а до порядкованя він не рветь ся.

Все довкола йому остогидло: не може дивити ся на людей поневолених, прибитих, а при тім сам погинає ся під своїм горем. Навіть на дерева не може дивити ся і на ті хмари, що сунуть ся над Боготом. Ні з ким не сходив ся, сидів у хаті і почорнілі стіни споглядали мрачно, як він лежав на полу, як качав ся по-стогнуючи.

В таку добу війшла до хати Маланка. Припала до старого та починає просити ся.

Прийміть, татуню, до хати, таж я у вас одна як палець, а ви самі зчорнієте в хаті як ті стіни. Що я маю чужі кути витирати, ходити коло чужої хати, обліплювати, обмащувати її, — та не ліпше коло вашої?

Іван змагав ся. Він добре знав, що доньці не жаль його, лише зміркувала, що по Дмитровій голові може хату посісти. Згадав, що і в неї

була хата та перейшла в жидівські руки. Знав, що дочка вже добре обрадила ся з чоловіком-п'яницею, навіть догадував ся, що старий лейтенант був у тім, що се його причина, але — уступив. Все-ж то його дитина, його кров, яка там є вона: людяна, чи нелюдяна. Що йому тепер по хаті, що по обійстю, хоч би й нерозколене було те давне, батьківське обійсте? Коби при дітях теплий куток мати, коби онуки жебоніли, та може нагадають ті лучші часи, ті давні хвилі, коли тут бігали по хаті його дітваки... Може забудеть ся лихо...

Другої днини вже притаскала Маланка свої статки: порожну скриню, колиску, лаву та пару горшків. А з нею трое дітей.

— Що знав старати твій Юрцьо, то знав, але все старає, щоб тобі з рук немовля не злазило.

— Та що людям, то й мені.

— Ей дочко, де тобі так, як людям!

— Таже по лісі біда не ходить. Тай лишіть, тату, на що зачіпаєте. Я вже своє серце їм.

Старий зітхнув важко. Якось ніби розмовились, хоч і не дуже ласкаво, але ніби порозуміли ся, тай стало їм легше. Діти взяли грати ся по хаті, від їх голосочків та від реготу хата повеселіла. Але старший хлопчик, також Дмитро, якось неалюбив ся Іванови. Видирає від менших хліб, то збиткує їх, діда сіпає за ногу, а чинить ся, мов то він щось робить, або в вікно дивить ся.

Та все якось відраднійше Іванови тепер. Дочка хоч трохи привела хату до ладу, хоч у середині. З на двору будім то також збирала ся обхарити її, але старий помітив, що вона

більше губою робила ніж руками. Привчила ся там у скарбі на злиднях до нехарства, тай уже тепер ні перед нею, ні за нею.

Все ще якось було би, поки самі були, а то в неділю прийшов Юрцьо. Як лиш уступив на поріг, то як би хто вікно заступив, як би впала тїнь у хату.

Принїс горівки, але Іванови немило і тяжко було випити, наче кров свою пив. Маланка випила, почервонїла і розпустила язика. Іван пізнав, що того власне бракувало їй за ті дні, поки чоловік прийшов, дарма що впевняла його, що горівки не бере в губу. Зміркував і зажурился. А зять узяв щось приповідати, що кине службу та перейде до тутешнього скарбу.

Як же перейшов, почало ся иньше, гірше жите в Івановій хатї. Зять принїс якісь гроші, що взяв замісь збіжа в скарбі, та щоби мав купити зерна, то почав гуляти. Приносив горівку та булки та оселедці до хати і хоч не хотїв Іван із ними пити, та як стали просити та припрошувати, то вже там випив деколи.

А там і просити не треба було: прийшло таке письмо, що пив уже без просьби. В тім письмі стояло, що гроші платити мус, або можна подати ще рекурс висше. Тепер Іван пив би, хоч уже пішли зятеві гроші. Але зять добрий, знов постарав. Іван не бачив, та бачили сусїди, що Юрцьо відбивав дощечки з віконця в кузни, всаджав там свого хлопчика, а сей що дня подавав татови то клевець, то клїщі, поки Ворон не викупив усього начиня, що було в кузни. За се й пили, а до роботи не ходив Юрцьо як Іван.

Одної неділі привів добрий зять Демкового з міста.

Сей тішив ся довірем мужиків у Боло-
тянським окрузі, бо їх не дер і не дурив, а у
Конюхівців іще тям, що тутешний родич.
Не одному письмо добре зробив, із біди ратував.
Лиш глянув, зараз сказав, що перший рекурсе
але зроблений, він зробив ліпше тай дорадив
старати гроший на дорогу. Казав, що до Львова
треба буде їхати, скоро збере ся сойм, бо тоді
котрийсь руський посол може йти до намісника
та просити за той податок. Лиш постарайте ся
за лист від кільшанецького попа та до руських
послів. Я вам добре раджу.

Іван сам бачив, що рада добра. Сїв Дем-
ків. Як пише так пише, а відтак почали ча-
стувати ся.

Забавляли ся там довго чи не довго і хоч
темна ніч, іде він до дому.

— Письмо — каже — я вам на другу
неділю або сам принесу, або звідайте ся до
мене. Ще не буде пізно, як подасьте до про-
токолу. А коли саме можна буде їхати до
Львова, то знов як би ви не знали самі, мо-
жете мене порадити ся.

Став Іван у голову заходити, звідки гро-
ший взяти, але й тут поміг зять. Завіз його до
банку, там дістав Іван пятьдесятку.

Тепер хата ожила. Якось ішло так зага-
лом. Як перший раз запили, то ще не вихо-
дили з похміля... Зять такий добрий, усе ста-
рому годить, доношує горілки, доношує то ри-
би, то студенцю.

Випивши ставав Іван мовчазний, хмарний,
не озветь ся. Заложить руки на спину тай хо-
дить із кута в кут. Тоді він і бачить, що зять
поганець, що донька звела ся при нім на ні-
нащо, що який з Юрця голодранець, але при-

знає ся до польської віри та має Русинів за дураків, що облизує ся, як згадає батька та панів тих, що з ними старий водить ся. Але з дурнем не стане Іван на розмову — далі мовчки ходить. А вже як више більше, то стане против вікна тай викричне: „Мужик паниця, ледащо! Але я не пив, поки дозволяли робити...“

Так тягнув ся тиждень і другий і не пив Іван зятя, звідки у нього гроші. Аж одної ночі не може він спати, бо переспав ся вже з вечера так як упав на лаву. Чує, щось шарудить біля нього. Тоді щось стукнуло йому в голову, він вичумав ся до решти і супокійно ждав. А тут якась рука лапає його по ногах, відтак чує шушурканє і вже в головах дише Юрцьо. Поволи засуваєть ся рука в Іванову кишеню, а Іван лап тай здавив у жмени сю руку разом із кишенею, але як рука шарпнулась Іван скотив ся з лави тай повалив ся на зятя. Сей хотів знов вирвати ся, сіпнув, роздер кешню та витяв старого, але тоді Іван кулаком у голову та де попав на помацьки. Маланка з просоня скрикнула, засьвітила каганець та стала їх розривати, лаяти то одного то другого. Іван випустив зятя з рук, але до платка, а в платку вже лиш десятка. Як не кине ся знов на нього: вибив, вискубав за чупер, вимісив тай викинув із хати.

Маланка взяла обзивати ся, батька зневажати, але Іван заспокоїв її зараз, як загрозив, що піде за чоловіком.

— Ти й так лиш до рана тутки, — викричав на дочку — а рано підеш за своїм злодійом.

І що сказав — зробив. Прийшов ранок, він повикидав їх рапуть тай казав доньці виступити з хати. Був би не робив того, але бачив, як вона в бійці копнула його два рази в бік. Такої гадини не хотів довше держати.

Юрцьо уступив; казав жінці піти на хати до сусідів, а сам покочив до батька. Не вертав ся скоро, але як прийшов, був горівчаний і грозив тествови.

— Я ще тобі покажу, — кричав — що то є лайтнант, ще будеш на колінах повзати ся за мною. Щось мій татуньо значить іще і в селі і в місті!...

Рапуть молодих стояло весь день серед подвіря, а самі вони пішли на віч до лайтнанта.

Другого дня прийшов від нього посол тай радив, щоби по доброму записати на діти хату і город, а тоді він заплатить за Івана податок тай буде згода.

Іван прогнав посла і пішов до роботи. Другого дня з'явив ся післанець знов, а третього дня прийшов війт сам із двома присяжними тай сказав Іванови, що його хата вже стара і може завалити ся. До 8 днів має її завалити, і нову ставити, або йти в комірне.

— Лайтнанте — скрикнув Іван грізно та підступив до війта — я тобі лиш тільки кажу, щоб ти мені зараз забирав ся з мого обійстя, бо так як стоїш, упадеш на землю і лиш мажюка з тебе розіллє ся.

А так промовив, що ні війт, ні присяжні не посміли обізвати ся, лише пішли мовчки з хати. Аж коло воріт осьмілив ся Многодзятний.

— Я тут прийду осьмого дня, але тоді твоя хата впаде, так як стоїть тепер.

А Іван замкнув ся в хаті тай засвистав... Почав ходити з кута в кут, крізь вікно визи-рати. На що не глянув, усе йому обмерзіло, все таке противне і цілком чуже. Ся хата, та-ка йому мила і дорога недавно, тепер наче коршмою для нього. Наче ось-ось має вийти він на подвірє, сісти на візок тай їхати даль-ше. Пошукав очима того візка.

Кілько в тій хаті натерпів ся, кілько ну-жди зазнав! Тут осьмеро дітей його прий-шло на світ і плач їх відбивав ся від стін, а на постелі корчилась від болів „стара“ при породі. Зтягала ся жовта як віск із ліжка, ви-сувала ся ізза білого простирала тай на силу волочила ногами, бо мусіла.

— Ти се бачив — приповідав собі сам.

Меньше плакало в колисці, старше рач-кувало по землі, а коло нього брикало ягнятко, або обнюхувало його порося. Щасливий був той рік, коли такий гість був у хаті побіч ди-тини. Ягнятка, поросятка продавало ся, діти мерли.

— А нині не маєш живої душі коло себе ні в хаті, ні на оборі — приповідав собі.

— Шестеро дітей твоїх на могилі, стара землю їсть, гадину сорокату прогнав із хати. А ти сину вандрівниченьку, ти мав найліпший розум, що плюнув мужикови в зуби, відцу-рав ся роду тай став паном, тай навіть до дурного мужика не поклониш ся.

— Іване, люди мали тебе за люди, брали тебе в куми, то просили за старосту до таких самих гараздів як у твоїй хаті. І вони хробаки залізли в хрін тай шолопають...

— Громада мала тебе за газду: брали те-бе до ради, посадили тебе на вибори.

— Я їм у радї на їх бїду нічого не вравдив, а як пішов на вибір, то тепер маю. Мій аркушик на кузни прибитий. Так, так, хлопе, твоїх ворогів прибав я на одвірку, а вони далі по сьвітї ходять, щоб тебе виглодати: з під ніг землю, з рук ковало, з голови мисли тобі беруть.

— Гей, бо найбільший воріг лишив ся, його ти не годен зловити. Кождий з нас ходить боком, тай з майки нас беруть. А от диви на мене, так як бим відрубав сей палець тай кинув на банти, так мене відтято від сих виборів тай від усього. Візьміть мене та зарубайте, то навіть вам не писну.

— І ви шваґре Задорожний і ви Стефане Лозо і ти Стасюків Петре, деж ви, люди, щоби мене послухали? Таж я також щось виггадав за ціле своє трудяще житє. Щось я виміркував про сьвіт божий.

— Поки було за хлїб та за податки та за роботу, то добре. Чи ти, Іване, з кузни прийшов, чи зо стайні від худоби, то нічого, ти добрий; можеш стояти за порогом, або йти до стайні та з волом запрягати ся, то візьмеш плату, абись не погнб... Але як розмірала ся весна тай якийсь голос із Богота наповів тобі, тай якесь промінє тобі засяло, як твоя душа заспівала тай пішла за сьвітлом — то в голову тебе обухом. Іди назад до стайні нивку гноїти. Тобі не до сьвятих справ. Ти душі не маєш. Хто тобі позволив?

Так собі Іван приповідав у самітній хатї тай мовчки дивив ся, як зять копав яму, рубав щепи в садку, будував землянку на кінци огорода над річкою. Зять гаморив, привіз коником соломи, вже другу днину порав ся, вже

грубку змурував у землянці і випустив бляшану трубу на верх, а Іванови байдуже. І в хату був би його мовчки пустив.

Ходить Іван заєдно по хаті, а тут від о-сінного холоду прокидає ся мокрість по стінах, носить ся по хаті сирість.

Чує, що ходять, то їздять вулицею, але не кортить його виходити. Він се бачив нераз: ідуть у поле, везуть гній вонючий, ідуть до Жида грошій позичати... На обійсте також не йде, хіба вискочить яку колоду втягнути, ба-рабольку спекти. Не кортить його ні на що глянути. Нема, як до міста треба би піти, бо пи-сьмо вислає, прийдець ся поїхати у Львів, до губернатора.

— Та що тобі письмо поможе? Раз тебе відрубали від пня, а гілка вяне тай в огонь піде. Ти вже не приростеш на ново.

Минув уже осьмий день, а лейтнант не приходив. Не посьмів показати ся. Гадав, що Іван сповнить свою грозьбу. А Іван снував ся, ходив по хаті, думки передумував і навіть не згадував його.

Минув уже девятий день, минув як усі тамті і Іван поклав ся на лаву спати. Не так поклав ся, але ходив по хаті, ходив і сїв на лаву, а з вечера ляг та лежав і думав, поки й не заснув... Аж тут у ночі чує крізь сон, а хтось йому кости пилить. Повертає ся, а то перше пилили голову, а тепер пилять ноги. На-раз почув, як хтось гатить і то гатить сильно; здригнула ся хата, відтак затріщало, а за тим упало з гуком кавалок стіни на постіль. Зірвав ся Іван, сьвітить, а тут стіна що була осіла, бо ціла скривлена хата лягла тягаром на неї, курить ся і сиплеть ся, платва звисла, а попід стелю тріскає, і стіни рисують ся.

Вискочив Іван на двір, а там тихо, лиш осінній дощ раз коло разу накрапає, чути його плюскіт. Пустився на діл до землянки, а з боку хтось вперіщив його каменем. Завернув до хати, згасив каганець, вийшов на двір тай уже ходив по дощи аж до раня.

— Розбій, чистий розбій на батьківській, прадідній землі, зрошеній потом, кровю. Нема на кого жалітись, нема перед ким.

Ходив далі по дворі ззяб і змок, не було де голови приклонити.

А тимчасом хата тріщала і валила ся куснями. Вже чує, як віконце бренькнуло. — Вся хата була подала ся на один бік, на одну стіну, а як під тою стіною не стало стовпів, тоді поволи ломали ся вязаня, тріщали крокви і бальки, ломило ся кіле і обсипали ся вальки, а дах придавлював із гори та дожидав, коли має упасти.

Коби була вся до разу провалила ся крізь землю, не було би жаль йому, а то поволи стовп за стовпом підломлював ся, вихвачував ся зпід цілого тягару, тріщали сволоки, наче Іванови самому переломлював хтось поволи кістку за кісткою тай не хотів дати обухом по голові.

Нема кого на поміч кликати. Темна ніч довкола. Всі сплять. Тай що союзники? Кождий за себе, або боїть ся лайтнанта.

А опісля вже й за те не думав, лише чув, що мокне, що змрно, що хотів би загриті ся, ах, як би хотів продроглі кости розігриті!..

Сів під кузнею, спер голову на стіну і тоді заморочило йому голову, почорніло в очах, погласкало по грудех і не чув холоду.

Не спить він, а наче в сні бачить свою хату. Валить ся вона, стіни підорвані, дах ось упаде. А на стрісі на причілку між кізливцем сидить ніби грубас Яблонський, потім лейтнант, а потім Вайгінгер...

То знов, де була хата, там уже чисто, а тут приходять чужі люди, чужою мовою говорять, обзирають площу і збирають ся ставити нову хату там, де стояла колись козацька землянка, відтак панщиняна хата руського хлопця. А за воротами скалять зуби другі чужинці.

Мука, мука Іване! То хоче крикнути, то хоче прогнати орду, а руки зціплені, звязані.

В ранці, як хата вже лежала руїною на звалищі, доручили йому письмо.

1. cz. $\frac{H. K. T.}{2} / 4$

На карті **Б** книги табулярної громади катастральної пренотує ся: яко марнотратного піддає ся під курателю Івана Козака, а його куратором настановлений Семен Многодзятни.

Козловскі.

— Що — скрикнув Іван — латюга моїм куратором? лейтнант? Най мені вступить ногою на мій батьківський ґрунт, то голову йому розвалю. Мені кримінал, а йому смерть. Уже сього не буде, щоб перекинйчик, ляцький хвіст верховодив надомною. Що Ляхам до мого курточка рідного, до моєї батьківщини?

А в тім здавало ся йому, що сі слова сказав хтось третій. Він лиш чув їх звук. І побачив себе далеко від того розбою, десь там, де є спокій, де люди живуть правдою, де боже право горою... Таку сторону побачив оком душі і заспокоїв ся... Зпала з нього журба, звалив ся камінь із грудий.





VII.

Вже від тижня не видно сонця на небі. Богот мок на осіннім дощі, а глинкавата земля в його вітлинні розмакалась як сухар у мисці. Село плавало вже в калабанях, хатки грузли щораз вище в розкалі, а Іванова кухня вже така сама, як грязь.

Іван сидів у ній, товк ся як зьвір у клітці. Тонка стріха перепускала воду як сито і вже лиш на пальовиску був сухий куток. — Коли вітер на силу розтворив двері, тоді падав у кузню заморочений сьвіт і показувались промоклі до стержня, покорчені дерева, що безвідрадно страждали на студіни, лише час до часу під ударом дикого вітру, в спазмах ревіли зловіщим, конаючим шумом... Сірі хмарща бовваніли і раз звисали над землею, раз товкли себе туловисками, то знов гадюками обкручували ся коло горбів на Боготі, а коли

його відслонили, знов чіпляв ся верха туман і не було просьвіту у вселенній.

Дощ цяпав, ляпав, сік правильно й без упину — серце вмлівало; плюскіт то слаб то змагав ся, та не вгавав; ранком, у полудне, у вечір, днем і в ночі, на вчора, вчора, нині і завтра буде — зелізна воля топилась; той дощ і дощ і дощ — душа умирала.

Аж семої ночі прийшов параліз. Скоро місяць гулькнув над провалем, уже поглядали балки мертвими очима, склестим, тонким ледом, уже ціла кітлина Богота лежала як колода.

Іван згубив ся; погубив ті гадки, що їх думав у хаті та над руїною. До кузні загнав його страх. З під звалищ хати вилазив якийсь довгий ствір дикого виду, повзав до Івана, дихав на нього зимним віддихом і брав за карк. „Я твій куратор“ скреготів голосом лейтнанта, а Іван минав ся з переляку. Аж у кузні, підперши двері, знайшов захист і супокій, але наче в яму цілий упав — гадки його відбігли. Шукав їх, та не міг знайти. Розкотили ся. Як напружував жили, то в голові стискало, по всіх кістках ходила студінь. Ломали ся зусилля, ні один промінь не впав у кузню, а руки дубіли, ноги дубіли, очи висаджувало. А так треба, так доконче треба було вийти з грязюки, лишити за собою страшну, темну ніч і дві кровавої наруги, кривди.

Аж семої ночі на пальовиску було під ним горячо, бо міх димав на вугле, відтак ковало дало із себе голос чистий, дзвінкий. Відтак ходив по кузні той стук, той ритм, що на його звук Іванова рука шукала молота. Так ніби його батько, ніби молода якась, білява дівчина,

кувала і викувала спису триюдну, засадила на деревце і казала йому втікати з тої біди, казала йти за своїм слідом...

Коли витягнув руки і мав іти, нічого не було чути і нікого не було видно; крізь малу щілину над пальовиском свистів вітер, а ковало було зимне... — але він чув, що хтось по кузни перевинувся так як вітер тягне від щілини до дверей.

Двері були легко відхилені, за порогом ховствів вітер, а місячне світло клало тіні від заходу на схід. Було тихо, погідно і ясно. Іван чув, що хтось ясний пішов від нього так як клалося світло по місячних лугах, чув, що за тою силою лишилися сліди від порога через огород, через лани і супокійно глянув туди. Окинув оком греб, ліс і гори, а там побачив велику ясність на краю обрива. Сяєво грало на небі. Нагло покотилася в низ провідна зьвізда, а в її сяєві замаяла тиха, тепла країна, де нема кривди й розбою...

Іван пішов у кузню, там сон його звалив, але ще далеко було до дня, як він ходив по обійстю.

Осінній ранок поволи прокинувся і раз розбілював темний сумрак над високими горами, що бовваніли довгим рядом у півверг, а поки сірий світ ізсунувся в низ, поки ясні тони сплили і покотилися долі понад річку, вже над горою розіпнявся багровий облак. На сій тлі відзначився різко профіль Козорога, а як небавом виринуло сонце, відслонило всю грозу нараз.

І Козоріг і сумні горби й заустілі ниви заповишені срібленим, блискучим приморозком і безлистя ліс застиглий — усе гляділо

на Івана грізно, непривітно. Ліс не шумів, лиш клапав мов великий птах дзюбом і тим беззвучком грозив Іванови; підірваний туман із над очерету сунув ся просто на нього попри високі тополі, але найгрізнійше шквірів до нього знад кузні свої чорні зуби розвалений комин без дашка і сливе без тинку.

А Іван стояв високий і рівний, тільки в самих плечех уже переломаний. Цупке зимно, зрадливий мороз, виринаючи з ясного, склистого повітря, прошибав його вязи, пронизував жижки, а на нім за всю теплу одержу обвис лише довгий, битий кафтан і доторкав ся підвинених шкяпових холяв.

В правій руці у нього блиснув проти сонця топір, але в очах грізнійше блиснув завзяток і міць. Вона й обляла його обличчя, заповнила поперечну морщину на лобі і затиснула губи. Та поволи той блиск енергії топив ся, сплив на щоки сльозою, а зпід підвалини висинув ся Род, схопив Івана за плечі і потряс ним мов вітер деревиною. Ще хвилю стояв і чув, як у середині у нього щось рветь ся і ломить ся. Пропасниця телепала ним, а далі кинула сокирою до землі з усею силою. Тоді Іван побіг у кузню, повалив ся на землю і став сивою головою товкти до пальовиска.

Ані один стогін із горла, ані зойк із серця, ані одно слово з грудий не вирвало ся йому. Ціла кузня була повна болю і смутку, аж темніла, аж не було чим відітхнути; але ніщо не розривало камінної тиші, ніяка скарга ані жалість, лише той глухий стук головою до пальовиска...

А нагло схопив ся Іван на рівні ноги, побіг на двір, схопив сокиру в руки і став

рубати сволок над зрубом у правім углі. Навіть не питав себе, чому так робить, лиш квапив ся. Нараз опали руки, сили йому не стало і зняв його страх: коло сволока зарисувала ся стіна, трісла, отворила ся чорна челюсть, а з челюсти висунула скривлене лице з розбільними очима Рожаниця. Іван відскочив, але побіг таки до другого угла і далі гатив. В тій кузні були заперті його вороги: вїйт, зять, Яблонський, інспектор і сей дивний воріг, що не мав людського лица, всі там були.

З ненавистю, з завзятем, із силою і лютістю бурив і збурих кузню. Давно вже так працював, іще перед своїми клопотами, коли було збереть ся роботи за довгий час, а мус нажене охоти до праці і сили до рук.

І Козоріг і ліс не переставали грозити. За білого облака грізно гляділо залуплене око сонця, зпід звалищ кузні доходив Івана наче сик змії, але гордий Іван сьміло споглянув на обморок, твердо ходив.

Уже мав виступати. Вже рушив ся. І тоді нагло помяк. Невиплаканий плач затряс його грудьми, кроваві сльози впали гранею на серце, із серця закапала кров, а туск розривав його.

Пішов по своїм огороді і вже не міг виступити за межу. Стара липа тямилу його хлопцям і наповідала йому тепер, як він тут іграв ся, а тепер усе покидає.

Ноги прикипіли до землі, так що не міг іти дальше. Став і розгадав цвіт своїх сил... Розсипали ся вони скрізь, як той цвіт, що цвите літом, а під зиму вяне, опадає. Розсипали ся, ходили хильцем понад землю, в сонце не глянули, а крила їм відтято.

І плуги поломали ся і борони позубили ся, а твоя сила пішла не знать куди. Чи сплила хоч у землю та виросла могучим високим деревом, щоб хоч давало химородь та холод сим робітним людям, що палять ся на сонці та в поті купають ся?...

Здвигнув плечима, подав ся, щоб винести останки тих сяд, але почув по заду шелест, а голос дзвона линув із далека. Чув за плечима гамір тих, що рік тому робили віче у нього. Стасюк мов пророк виступив наперед тай промовляв так, що від його слів на вялім галузю цвіти зацвітали, сонце над усіми сяло і птахи співали пісню щастя... Чує їх гамір Іван, чує Стасюків голос: „Обертайте, Іване!“...

Обертає лице до подвіря, а хати нема, а з кузнї валяють ся звалища, а тут біля нього в ямі сидить запита донька з онуками гей вовчця з вовченятами. Тоді холодна, болюча правда показала його руїну, сильне безправство зареготало ся і він здригнув ся.

Взяв торбу, взяв палицю заковану списою, взяв у платок землі грудку, натиснув кучму, перехрестив ся тай побіг очима по своїй дорозі. Вела вона через річку, поперек дикої яруги, вибігала на скалисті горби, вела через високий Богот, через Медобори. Проста дорога як промінь, тяжка, невбита, ніхто по ній не ходив... Іванова думка не пішла по ній, лиш соколині очи по ній бігли, лиш очи самі.

А Іван чув, що піде по ній ногами і життям, чув, що се його дорога.

Провал розширив ся на Іванових очах, а Богот підніс ся високо, підніс ся під саму хмару, станув непрохідною стіною.

Але за горою, але за рікою, за горами,
за ріками в краї, в землі; в зелень, світло,
воля, нема кривди, в правда.

Правда, котрої шукаємо.

Подув ще вітер, залунали якісь погрози,
і ще сумнійший і вже страшний стояв перед
Іваном Богот і зі скали котило ся каміне
з гуком.

Іван — пішов просто.



